

Р. Г. Назиров

Историческая проза

I

Уфа 2016

УДК 82.0:821(1-87)
ББК 83.3 (0)

Назирова, Р. Г. Историческая проза. Том 1. Уфа: Башкирский государственный университет, 2016. — 260 с.

В книге публикуется подборка исторической прозы известного литературоведа Р. Г. Назирова. Эти тексты, содержательно охватывающие огромный исторический период, дают представление о неизвестной ранее грани творческого сознания Назирова. Большинство произведений публикуются впервые. Издание подготовлено при поддержке РГНФ и АН РБ (проект № 16-14-02008). В оформлении обложки использован этюд А. Дюрера «Одеяние Христа» (1508)

© Назиров Р. Г.
© Шаулов С. С., предисловие

ISBN 978-5-7477-4267-3

Предисловие

В эту книгу входит почти вся малая историческая проза Р. Г. Назирова, обнаруженная в его архиве к настоящему времени: несколько рассказов и повестей¹, посвященных разным историческим эпохам. «За бортом» настоящего издания остались только крупные тексты: роман о Петре I и его эпохе, недавно обнаруженный в архиве, и «Охота на человека» — роман-хроника из времен Великой французской революции и начала правления Наполеона.

Не стали мы включать сюда и прозу Назирова о писателях. Объем этой прозы (в особенности, о Пушкине²) намного превосходит возможности настоящего издания. Кроме того, у нее другая тематика и проблематика, нежели у «простой» исторической прозы.

Задача настоящего издания относительно скромна: представить масштаб исторических интересов Назирова-прозаика. Именно поэтому мы вместо того, чтобы расставить тексты Назирова по времени их создания, решились выстроить их в «реальной» исторической последовательности. Мы учитывали и то, что Назиров крайне редко датировал свои тексты (не только художественные), поэтому их датировки зачастую основаны на косвенных фактах и порой гадательны. Исключение с этой точки зрения составляет рассказ «Пролог», найденный в дневнике Назирова между записями за 15 и 17 марта 1957 года. Рассказ «Красный Арслан», видимо, тоже относится к концу пятидесятых — началу шестидесятых годов. А вот «Звезда и совесть», открывающая настоящее издание, наоборот, — является, вероятно, самым поздним произведением и датируется серединой семидесятых годов³. Повесть «Голубой Каин», скорее всего, — немного старше; по ряду признаков можно заключить, что она

¹ Даже «Звезда и совесть», которую сам автор назвал «романом», по объему и, что важнее, по своей структуре ближе все-таки к традиционному представлению о жанре повести.

² См. несколько глав из романа Назирова о Пушкине в журнале «Назировский архив» № 4 за 2014 год и № 4 за 2016 год.

³ См. о датировке романа: Зарипов А. Р. Роман Р. Г. Назирова о Христе: степень завершенности и творческая история // Назировский архив. 2014. № 4. С. 157-158.

создавалась одновременно с незаконченной монографией о романе Ф. М. Достоевского «Бесы»⁴, приблизительно, в 1973—1974 годах.

Здесь нужно отметить два важных обстоятельства.

Во-первых, еще в самом начале работы над архивом Назирова Б. В. Ореховым на основе ряда биографических сведений было высказано предположение, что с середины 1970-х Назиров полностью «переквалифицировался» из литератора в литературоведа и бросил писать прозу⁵. Надо сказать, что мне эта идея всегда казалась и продолжает казаться странной. Резкий обрыв бурной (судя по объему неопубликованного) писательской работы представляется чрезмерно литературизированным, неестественным шагом. С другой стороны, может быть, такое как раз и было «в духе» Назирова образца семидесятых? Как бы то ни было, пока художественных текстов, которые можно было бы достоверно датировать более поздними десятилетиями, в архиве Назирова нам обнаружить не удалось (впрочем, значительная часть прозаических материалов пока подвергалась только беглому осмотру).

Во-вторых, нужно обозначить одну важную (во всяком случае для нас) проблему. Дело в том, что большая часть назировской прозы (не только исторической) не окончена. По каким-то причинам Назирову было сложно придавать формальное завершение текстам крупнее рассказа. Такие прозаические формы у него не закончены в подавляющем большинстве (в настоящем издании это — «роман» «Звезда и совесть», повести «1000 лет назад» и «Голубой Каин»).

Видимо, дело тут не только в умении или неумении доводить историю до конца. Постоянство и своего рода «упорство», с которой Назиров не заканчивал свою крупную прозу, заставляют искать более серьезные причины этого явления. Иными словами, это должно что-то значить, но что именно — пока непонятно.

Все это сообщает некоторую странность и предлагаемому изданию. Как читать эту прозу, как ее воспринимать? Как

⁴ См.: Назиров Р. Г. Материалы к монографии о романе Ф. М. Достоевского «Бесы» // Назировский архив. 2013. № 2.

⁵ См., например: Орехов Б. В. Очерк малой прозы Р. Г. Назирова // Назировский сборник. Исследования и материалы. Уфа, 2011. С. 27-28.

документ из истории отечественной науки, показывающий, чем на досуге «баловался» известный литературовед? Как вовремя не напечатанную, но, наконец-то, «возвращенную» литературу, пусть даже регионального масштаба? Как оригинальную (оригинальную ли?) форму выражения культурно-философских воззрений автора? Просто как «качественную прозу» (здесь сложнее – придется сначала определить «стандарт» качества)? Думается, каждый из этих способов по-своему хорош и плодотворен, и если нам удастся спровоцировать размышление о том, какой из них наиболее отвечает публикуемым текстам, мы уже сочтем задачу этого издания выполненной.

Мои благодарности — Б. В. Орехову, М. С. Рыбиной, А. Р. Зарипову, на разных этапах работы принимавших участие в подготовке назировской прозы к печати. Следует также отметить, что это издание стало возможным при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Академии наук Республики Башкортостан⁶.

Сергей С. Шаулов.
Декабрь 2016.

⁶ Проект РГНФ № 16-14-02008.

Звезда и совесть

Фантастический роман

Пролог

Тиберий установил в империи железную строгость, однако в восточных провинциях не прекращалось брожение. Под видом купцов или волхвов сюда проникали парфянские агенты; подстрекаемые разными подрывными элементами, мятежно шевелились жители Иудеи, которая подчинялась администрации сирийского легата императора.

Иудейского царства фактически уже не существовало. Последним царём был Ирод великий, союзник Октавиана Августа, известный своей страстью к архитектурным сооружениям большого размаха; родом идумеянин и типичный политический парвеню. Желая связать свою династию с Домом Давида, он женился на прекрасной Мариамне, дочери первосвященника Симона и внучке последнего царя из законной династии Асмонеев. Однако все усилия римского ставленника были напрасны: евреи его ненавидели и крепко помнили, сколь недавно презренное племя *эдом* (идумеяне) приняло обрезание и Закон Моисея.

Дошло до того, что *хевра* фарисеев (известное религиозно-политическое братство) отказалась присягнуть на верность идумейскому узурпатору.

Тогда он перешёл к политике террора. Казни произвели опустошение в иудейском обществе и в самой семье Ирода; незадолго до смерти он планировал одним ударом перебить всю еврейскую знать в ипподроме Иерихона, но не успел этого сделать.

Завещание Ирода утвердил Октавиан Август, как покровитель союзной страны. Полцарства унаследовал с титулом *этнарха* (народоправца) любимый младший сын Ирода — Архелай: он получил собственно Иудею, Самарию и Эдом. Он царил девять лет, и весьма жестоко; частые восстания против него методически подавлялись римлянами, но это вводило казну в расходы. Поэтому Август низложил Архелая и сослал его в Галлию, его области присоединил к провинции Сирия, а личные владения конфисковал.

Из другой половины царства по завещанию Ирода Великого богатая область Галилея и Перея достались Ироду Антипе с титулом *тетрарха* (четверовластный). Антипа (то есть Антипатр) был седьмым сыном Ирода Великого, в гареме которого до политической чистки, устроенной им в собственном доме, насчитывалось восемь жён.

Брат Архелая и Антипы, Ирод Филипп, получил заиорданскую тетрархию — области Итурею, Трахонитиду и прочие восточные окраины, граничившие с арабскими землями. Из сыновей Ирода Великого только Филипп снискал относительное расположение евреев: государь был миролюбивый и правосудный, правил долго и спокойно. Столицей его была Панада при истоках священной реки Иордан: он перестроил город, великолепно украсил и в честь божественного Юлия Цезаря назвал Юлией, но все звали её Цезареей (Кесарией) Филипповой, в отличие от других Цезарей, раскиданных по всей империи.

Вернёмся к Антипе. Монарх честолюбивый и грек в душе, он мечтал присоединить к галилейской тетрархии Иудею и Самарию, выпросить у Тиберия царский титул и тем придать своей зависимости от Рима более импозантный вид. В этих целях он афишировал дружеские чувства к Риму, созидал храмы в честь Тиберия и свою новую столицу на берегу Геннисаретского (Галилейского) озера назвал Тибериадой.

К сожалению, Ирод Антипа был женолюбив (удивительно постоянная черта во всей иудейской династии).

Во время одного церемониального визита в Рим (с соболезнованием Тиберию по поводу смерти его матери Ливии) Антипа остановился в доме ещё одного своего брата — тоже Филиппа, но не тетрарха, а изгнанника. Этот Филипп был сыном Ирода Великого и красавицы Мариамны, которая была задушена по приказу супруга, хотя он любил её больше, чем всех иных жён. Лишённый титула и наследства, Филипп жил в Риме как частное лицо; последний царевич, в жилах которого ещё текла кровь Асмонеев, он был женат на своей племяннице Иродиаде, красивой внучке Ирода Великого (все иудейские княжны славились красотой); у них росла дочь. На родине этому Филиппу докучали тайные симпатии врагов иудейской династии и некрасивые

поползновения родственников; поэтому он предпочитал скромно жить в Риме на вспоможение Тиберия.

Она насмотрелась на царскую пышность галилейского дядюшки и приняла решение. Покидая берега Тибра, Антипа в благодарность за гостеприимство брата увёз с собой его жену, свою племянницу и невестку.

Кстати, у Антипы была жена — аравитянка, дочь одного из царей пустыни, но тетрарх поклялся Иродиаде развестись с женой.

Аравитянка не стала ждать развода. Она бежала в родную Каменистую Аравию. Отец её, эмир Хамет, разорвал дружеские отношения с бывшим зятем, а впоследствии объявил ему войну и нанёс жестокое поражение. Так или иначе, в Тибериадском дворце воцарилась Иродиада.

Итак, жена бросила мужа и ушла к другому. В Афинах или Александрии подобный великосветский скандал не имел бы особого резонанса: чем выше культура, тем легче нравы. Но евреи под тонкой оболочкой внешнего эллинизма хранили верность своему неименовавшему Богу (имя его оставалось табуированным) и верили, что за грехи властителей кару несут народы.

Разумеется, логики тут не было никакой. Почему боги должны вмешиваться в семейные дразги идумейских принцев, а тем более карать за них ни в чём не повинное население. Логика в этом не было ни на драхму, но политический смысл был.

Иродиане (партия идумейской династии) считались друзьями Рима. Суровые законы империи и строгое налогообложение, непривычное для Востока, оставались предметом жгучей ненависти евреев. Но Рим был несокрушим, а гнев Тиберия грозен. Народы, угнетаемые слишком сильными иноземцами, обращают свою ненависть прежде всего на своих собственных предателей.

Прелюбодеяние тетрарха галилейского давало законный повод этой ненависти. С момента прибытия Иродиады народные смутяны не переставали осыпать её бранью, как женщину, забывшую Закон и стыд, как двумужницу и прелюбодейку. Но никто не смел громко выразить общее порицание.

И вдруг такой человек нашёлся.

Его звали *Иоханан*, что на древнем храмовом языке (в обиходе уже исчезнувшем) обозначало «Благодать Божия». Он был

бродячий проповедник, каких в Палестине были тысячи. Но он отличался от всех других.

Иродиане считали его проходимцем и шарлатаном. Фарисеи, послушав его, пожимали плечами: «В нём бес!» Добросовестные скептики, начитавшиеся греческих философов, подтверждали, что это обыкновенный безумец, страдающий бредом величия. Простой же народ Галилеи почитал Иоханана пророком Божиим.

Самые ретивые его сторонники доходили до утверждений, что в лице Иоханана на землю вернулся сам Илия, который, как известно, никогда не умирал, а живым вознёсся на небо в огненной колеснице.

В пророческой книге Малахии было указано, что пророк Илия явится предтечей самого *Мессии* («Малка Машиах», Царя-Помазанника), то есть великого Избавителя. Напряжённое ожидание Мессии составляло суть духовной жизни евреев. Они верили, что Мессия сломает ярмо на шее избранного народа Божия; он станет на берегу в Июппии и повелит морю выбрасывать жемчуг к своим ногам; он оденет свой народ в багряницу, украшенную драгоценными камнями, и будет питать его манной ещё более сладкой, чем какая ниспосылалась в пустыне после Исхода. Все эти легендарные пророчества были только формой поэтической экспрессии, без которой не умел мыслить этот упрямый и мечтательный народ. Главное же в иудейском мессианизме — пламенная вера в национальное освобождение и всемирное торжество. Поэтому дорогое имя Илии заставляло учащённо биться сердца людей. Так неужто он вернулся?

Вернулся Илия или нет, а Иоханан жил и действовал. Этот грубый человек отличался большой силой характера, поразительной внешностью и неслышанным бесстрашием. Не в тёмных конурах, а на равнинах он проповедовал всенародное покаяние, скорое пришествие Мессии, истинного царя Израиля, и Божию кару предателям, отступникам веры и распутникам. ОН НАЗЫВАЛ ИМЕНА. Галилейский пророк происходил из колена Иудина (одного из самых видных племён израильского народа), был сыном священника Захарии и принадлежал к числу *назореев*, или нозрим.

Назореем (от слова назир — священный обет) назывался аскет, человек святой жизни, давший обет воздерживаться от вина, всякого хмельного питья и от всего нечистого *и не стричь волос*, а это означало — не предаваться печали и не входить к умершим (острижение волос составляло часть траурного ритуала евреев). Назорейство могло быть временным или пожизненным.

Иоханан жил в пустыне, но проповедь его заселила эту пустыню: к нему стекались тысячи галилеян. Он воскресил в них давнюю гордость и жажду свободы, ибо стыд за грехи — возрождение достоинства. Ругая своих слабых и малодушных соплеменников, угрожая им карой, Иоханан тем самым заставлял их чувствовать себя людьми.

Всех приходивших к нему он подвергал омовению в водах Иордана, придав этому обряду новый символический смысл — очищения от грехов и рождения для новой жизни. В своих проповедях он неистово нападал на тех евреев, которые повиновались установленным порядкам и жили с римлянами в духе сотрудничества, что по латыни называется *collaboratio*.

Могучий голос «льва, вопиющего в пустыне» дошёл до слуха властителей Тибериады. Там Антипа, любивший языческую роскошь, задавал пиры, о которых писали даже римские поэты. Новая жена усиленно настраивала его на достижение царской короны. Она отличалась умом, но ум её служил только честолюбию и страсти к наслаждениям. Иродиада имела на Антипу большое влияние, обычное для таких пар, где сильная женщина сочетается с изнеженным мужчиной.

Однако это уже выходит за границы пролога, призванного лишь очертить исторические рамки нашего повествования.

Благосклонный читатель! Автор этой книги не скрывает своего дилетантизма в исторических вопросах. Вместе с тем он надеется найти немного правды за пределом имеющихся научных данных. Ведь в истории много тёмных промежутков, и каждому дозволено пытаться осветить их собственным разумом и фантазией.

Итак, прошу вас мысленно перенестись в Иудею на пятнадцатом году принципата Тиберия, и посмотрим, куда это нас приведёт.

Глава I. Трое на осенней дороге

Тёплым осенним днём трое путников шли по узкой каменистой дороге среди скал в восточной части Иудеи, направляясь в Иерихон в сторону реки Иордан. Судя по их одежде иговору, они были не иудеями, а галилеянами (северными евреями). В Иерусалиме Галилею считали косной окраиной, а галилеян — «людьми земли», а впрочем, презрительным прозвищем «ам га-арец» («человек земли») обозначали всякого тёмного и неписьменного поселянина. В Антиохии, резиденции сирийского легата императора, Галилея считалась беспокойным краем: именно в ней Иуда из Гамалы вскоре после смерти Ирода Великого поднял восстание «ревнителей» (канаим), поводом которого послужила всеобщая оценка имущества в провинции Сирия, организованная легатом Квиргинием в целях правильного налогообложения.

«Канаим» вели малую войну против римлян, пока мятеж не был подавлен и сам Иуда не погиб в бою; путь карательной экспедиции был отмечен крестами, на которых хрипели распятые мятежники. Но отдельные группы продолжали сопротивление, и римляне научились остерегаться короткого кинжала, называемого *sica*, которым пользовались при покушениях эти отчаянные мстители. В городах они образовали влиятельную партию.

Трое галилеян беседовали на ходу. Один из них, высокий и жилистый Симон, очень смуглый, с красноватыми крыльями носа и курчавыми волосами, был шумен и многоречив; в его поджарой фигуре чувствовалась сила. Речь шла о жестокостях Ирода и о жуткой, позорной его смерти в том самом Иерихоне, который они утром покинули. В связи с Иродом и его казнями Симон вспомнил об отце своей матери, который был жителем Иерусалима и подвергся мучительной смерти по воле Ирода.

Эту историю знали все в Иудее. Славный своим красноречием законоучитель Матафия, сын Маргало, и с ним ещё сорок два иерусалимца попытались снять золото римского орла с решётки Храма, ибо Закон Моисея запрещает изображения людей и животных, не говоря уж об оскорбительности для Храма этой птицы ненавистного Юпитера.

Ирод Великий, понимая, что эта попытка может раздражить Рим, повелел сжечь заживо всех сорока трёх человек: в их числе был и дед Симона; вдова его с детьми покинула столицу.

— С тех пор моя матушка не могла есть жареного мяса и не выносила его запаха, — закончил Симон.

— Она была права, — заметил самый юный из путников, отрок с красивым лицом и длинными ресницами. — Мы, ушедшие от мира, вообще не вкушаем мяса.

— Ты ещё молод, Иоханан, — покровительственно заметил Симон. — Знаешь ли ты, чего стоит лежать всю ночь в засаде, наносить удары, пробивающие кожаный нагрудник, бежать по горам и перепрыгивать через пропасти? Можно ли делать всё это, питаясь одной чечевицей?

— Симон, мне кажется, что размышление и молитва на правых весах весят не меньше, чем умение убивать людей, — ответил мальчик с иронией. — Чем меньше люди едят, тем больше думают.

На уродливом лице третьего путника промелькнула улыбка, но он ничего не сказал.

Симон театральным жестом воздел руки к небу:

— Как мне разговаривать с тобою? Всем понятно, что молитва и размышление важнее. Но пойми и ты — не должно всем уходить от мира! Если весь народ предастся посту и молитвам, то наследие Господа истребят необрезанные псы.

Нежное лицо юноши покраснело.

— Где львы Израиля? — спросил он с горечью. — Куда привели нас пути бранной славы? Господи, пошли нам *мудрых*!

Симон остановился на дороге и в бешенстве топнул ногой. Третий путник сказал:

— Перестаньте ссориться.

И тотчас наступило молчание.

Третьему было на вид двадцать восемь-двадцать девять лет. Тело его было слабым и худо сложенным, лицо дурно, нос красноват, во рту заметно не хватало двух-трёх зубов. На нём был простой плащ поселянина; как и у его спутников, голову покрывал обычный белый *кефье* — плат, ниспадающий на плечи и перехваченный *агалом* (тесьмой) вокруг головы. В руке он держал большой посох. Но это безобразное лицо, запylённое лицо

бедняка, освещалось глубокими карими глазами и отмечалось строгой выразительностью — не богатством мимики, нет, но постоянным присутствием душевной работы.

Его нестриженные волосы, выбивавшиеся из-под кефье, изобличали в нём назорея. Он один из троих шёл без поклажи.

Трое в молчании продолжали путь, как вдруг вдали закурилось облачко пыли. В нём блеснула медная искорка, вторая, третья... Симон приставил ладонь козырьком к глазам.

— *Римляне!* — хрипло выдохнул он.

Юноша с девичьими ресницами заглянул в лицо назорею.

— Учитель мы успеем укрыться от них среди скал.

— А зачем? Нам ничто не грозит.

И они пошли навстречу патрулю.

Вскоре стал слышен топот копыт и различимы кони и всадники. Солнце мерцало на копьях и шлемах; римляне переговаривались на скаку своими медными и наглыми голосами.

Три еврея сближались с тремя римлянами. Иоханан казался бледен, Симон одеревенел от напряжения, назорей поглядывал на небо и шурился, словно прикидывая, успеют ли они за день дойти до цели. Появление римлян в этих местах было явлением исключительным. Гарнизоны кесаря в провинции Сирия не слишком-то многочисленны. Рим правил провинцией, опираясь в основном на местные военные формирования. Поскольку Иудея входила непосредственно в состав Сирийской провинции, римляне разместили в ней свои войска, но немного.

Вот евреи сошли с дороги, уступая путь, но передовой всадник, явно старший по званию, начал осаживать коня, а за ним и два его воина.

— Кто вы такие? — крикнул он на довольно сносном *койнэ*.

Надо заметить, что Сирия и Палестина говорили тогда на двух языках: на арамейском (общесирийском, родственном древнееврейскому) и на койнэ (общегреческом). После завоеваний Александра Македонского и сложения эллинистических царств на месте его огромной, но недолговечной державы, *койнэ*, что означало «всеобщий» (в основе его лежал упрощённый аттический диалект Греции), стал языком всего Ближнего Востока. В иудейских селениях почти не знали койнэ, но в Галилее было

очень смешанное население — много эллинов, финикийцев, арабов. Галилейские евреи общались с иноверцами на койнэ, а в некоторых городах он полностью преобладал.

Три наших путника говорили между собой, разумеется, на арамейском. Но койнэ они понимали.

Когда римлянин задал свой вопрос, назорей быстро пробормотал по-арамейски:

— Симон, опусти глаза!

Затем, подняв лицо к вопрошателю, ответил на дурном, ломаном койнэ:

— Достойный военачальник, мы люди мирные, держим путь к мудрецу за важным советом. Этот мой товарищ — виноградарь, сам я плотник, а этот юноша — сын моего брата.

Что-то непонятное в безобразном лице плотника привлекло внимание римлянина, и он подъехал вплотную к путникам. Конь его фыркнул в лицо назорея, и тот отёрся равнодушным жестом.

Именно это спокойствие не нравилось декуриону — грузному человеку с широко расставленными зелёными глазами и жирными губами распутника. Ремни на его груди были украшены блестящими бронзовыми фалерами, отличиями за храбрость, а пальцы рук унизаны еврейскими перстнями. Вглядываясь с недоверием в лица путников, он холодно спросил об их именах.

— Меня зовут Симон, — ответил высокий галилеянин, глядя себе под ноги.

— Йешуа, сын Иосифа, — назвался плотник.

— Иоханан, — сказал подросток, хмурясь и краснея под взглядом декуриона, который рассматривал его с подлой улыбкой.

— Мы не те, кого вы ищете, — наивно добавил плотник.

— Откуда ты знаешь, длинноволосый, кого мы ищем?

— Простых разбойников не ловят воины кесаря. Если вас послали на край пустыни, значит случились беспорядки.

— Может быть, тебе ведомо, какие именно, о разговорчивый еврей?

— Скорее всего из-за Ионы, которого называют потомком царя Давида. Может быть, он пришёл в Иудею.

— Который сам себя назвал потомком Давида, — с издёвкой поправил римлянин.

— Пусть будет по-твоему, достойный предводитель.

— Клянусь Венерой, ты всё знаешь, о краса Иудеи!
— Ты сказал, декурион, — невозмутимо ответил Йешуа бар Иосиф.

Римлянин молча смерил его глазами. В этот миг один из воинов, подъехав поближе, указал декуриону на Симона и заговорил со своим начальником по-латыни; евреи поняли только, что декуриона зовут Максимом Анцием — так обращался к нему воин. Он упоминал также Тибериаду, а один раз сделал жест, словно рубил мечом сверху вниз.

— Эй, Симон Черномазый, поди-ка сюда! — приказал декурион.

Галилеянин приблизился: лицо его стало пепельным, глаза горели, как угли. Декурион сказал воину по-гречески, чтобы поняли евреи:

— Но у него нету никакого шрама.

— Может, он прикрыл этим паллионом, который они накидывают на голову?

Воин, склоняясь с седла, сорвал с головы Симона агал (тесьму), стащил с него плат и схватил его за волосы. Он повернул голову Симона направо и отогнул назад. Брови воина изумлённо поднялись.

— Клянусь Вакхом, я почувствовал тогда под мечом его зубы! — вскричал он в детском недоумении.

— Не могла же эта харя так зарастить за два года, — ответил декурион и добавил ещё несколько слов тоном лёгкого выговора.

Воин пожал плечами и тоже ответил по-латыни, как бы извиняясь или признавая свою ошибку. Евреи с бесстрастными лицами внимали этому диалогу, наполовину не понятному для них.

Разговорчивый воин отпустил Симона и вытер ладонь, осквернённую прикосновением к еврею, о гриву своего коня.

С минуту декурион сверлил взглядом непроницаемые лица евреев, но с таким же успехом он мог бы буравить гранит Синая. Затем, поворачивая коня, бросил несколько слов на своём медном латинском языке. Евреи не поняли слов, но дикий, самодовольно-наглый смех, каким умеют смеяться только римляне, всё пояснял без перевода.

Конский топот стих вдали; путники шли своей дорогой.

— Учитель, ты неосторожен, — сказал бледный Иоханан.

— В чём ты видишь мою неосторожность?
— Зачем ты выдаёшь сынам тьмы, что ты всё знаешь?
— Это говорил римлянин, а не я.
— Но ведь ты подтвердил!
— Ожидающий лжи не верит правде.
Тем временем Симон разжал кулаки и перевёл дух:
— У пса крепкая память, — сказал Симон, — он помнит всех, кого кусал.
— Но ведь у тебя нет шрама, — с тихой улыбкой заметил Йешуа.
— Благословение на твою голову, учитель! Если бы не ты...
— Оставим это. О чём мы говорили?
— Об Ироде Старшем.
— Да, я как раз хотел сказать тебе, Симон, что первое наказание жестокого есть его жестокость.
— Как это понять, учитель?
— Ирод имел восемь жён и четырнадцать детей. По наветам и ложным подозрениям он предал смерти трёх сыновей и многих родственников.
— Говорят, он сильно горевал о Мариамне, — вставил Иоханан.
— Это правда, — сумрачно подтвердил Симон. — Он положил её в гранитную раку и залил мёдом, чтобы она лежала в меду, словно спящая, и он приходил любоваться на неё и плакать. Что ж из того? Зверь тоже любит свою самку!
— Ещё бы не плакать — такая красавица! — заметил назорей. — Зачем же было пресекать её дни, законной супруги и царицы?
— Бог помрачил его ум, — решил Симон.
— Ты полагаешь, Бог насыляет мрак на тех, кого желает погубить? Это греческая мысль.
— Но почему же, учитель? — запротестовал обиженный Симон.
— Бог Израиля любит, чтобы грешники узнавали его удары. Безумие грешника делает его бесчувственным к вышней каре. Греки никогда не понимали по-настоящему, что такое страдание...

Спутники его задумались. Стоял жаркий день, скалы разогрелись от солнца. Проехали навстречу несколько загорелых дочерна земледельцев на ослах, поздоровались с тремя путниками. Несколько далее они увидели близ дороги колодец под ветхим навесом, стадо овец и двух пастухов, которые черпали воду из колодца. Путники приблизились к пастухам.

— Мир вам, добрые пастыри! — сказал Йешуа.

— И вам мир, путники.

Назорей сел на камень у колодца и опёрся на свой посох. Иоханан уселся близ него, прислонясь спиною к камню. Симон достал из дорожной сумы хлеб, сушёную рыбу, немного маслин.

Пастухи с молчаливой предупредительностью принесли путникам холодной воды в кувшине. Йешуа пригласил их к трапезе.

Они обменялись между собой несколькими словами, закрыли колодец и нерешительно подошли, предлагая путникам овечий сыр. Доля их была принята.

Йешуа прочёл короткую молитву. Пастухи были приятно удивлены, и старший из них сказал:

— Мы думали, что вы перушим, а вы молитесь попростому.

Трапеза совершалась в молчании.

В то время Иудею переполняло множество сект, они возникали, распадались и возникали вновь. Прочнее всех держались немногочисленные, но гордые саддукеи (потомки Цадока), секта храмовой аристократии, наиболее затронутой влиянием эллинизма; с ними издавна враждовали перушим («отделившиеся»), воинствующие враги эллинизма, буквалисты обрядности, известные долгими молитвами и презрением к черни, «не знающей Закона»; в койнэ слово «перушим» превратилось в фарисеев; отпавшие от фарисеев мятежные канаим («ревнители», по-гречески зелоты). Особую и совсем не похожую ни на кого секту образовали ессеи — люди мирные, но таинственные. Они бросили города и жили в пещерах на берегу Мёртвого моря; в своих общинах они ничего не делили на «твоеё» и «моё», отвергали телесные наслаждения, презирали стяжательство и все усердно трудились. Народ уважал ессеев за праведную жизнь, но попасть к ним было очень трудно. Само слово ессей (сирийское «асайя»)

означало «врачеватель» и на койнэ переводилось как «*терапевтос*». В своей открытой деятельности среди народа ессеи занимались врачеванием телесных и душевных недугов; они изучали врачебные книги и хранили немало тайн этой великой науки.

По формулам молитв, по омовениям, по одежде, даже по еде и питью опытный человек мог распознать принадлежность любого еврея к тому или иному течению расшатанного бурями иудаизма. В молитве Йешуа пастухи почуяли нечто близкое. Само приглашение пастухов к трапезе горожан говорило о многом.

Запив трапезу колодезной водой, путники заговорили с пастухами об их жизни, о траве для овец; расспрашивали, суров ли хозяин. Поскольку трое происходили с берегов Геннисаретского озера, разговор с неизбежностью коснулся последних новостей из Тибериады.

— Здоров ли ваш царь? — политично спросил старый пастух.

— *Тетрарх* здоров, — лаконично ответил Йешуа.

В арамейской речи этот греческий титул прозвучал с особенной выразительностью.

Слыхано было от нелживых людей, — сказал Симон, — что он вместе со своей Иезавелью появился на конных ристалищах в греческой одежде.

— А на ней что было?

— А на ней был *пеплос* без рукавов.

Пастух всплеснул руками. Но он простодушно не заметил, что гость его колодца назвал Иродиаду издревле позорным именем царицы Иезавели Сидонянки, которую избличал в нечестии великий пророк Илия и которая была разорвана собаками. Оба пастуха восприняли именование тибериадской двумужницы Иезавелью как нечто само собой понятное.

Солнце стояло невысоко над горами. Пастухи поднялись, чтобы гнать стадо далее, как вдруг Йешуа заметил, что старый пастух хромает.

— Что у тебя с ногой? — спросил он.

— Вчера старая львица хотела зарезать ярку, но я метнул в неё копьё и прогнал огнём от костра. Она посмела только раз оцарапать меня. Однако рана делается хуже.

— Сядь на камень и покажи твою ногу, — велел Йешуа.

Пастух смущённо повиновался и поднял одежду: чуть выше колена зловеще цвела нехорошая рана. Нога вокруг неё уже опухала.

— Хорошо, что я заметил твою хромоту!

— Царапины были неглубокие, — извиняющимся тоном ответил старик.

— Знаешь ли, что от этих царапин ты бы умер завтра вечером?

— Почему, добрый странник?

— Потому что у старых львов под когтями скапливаются остатки всех животных, которых эти львы терзали и пожирали за свою жизнь, и остатки эти гниют, вызывая зуд; иногда от этого у львов выпадают когти. Это тухлое мясо под когтями может источать скверные соки, и тогда малая царапина львиных когтей становится подобна укусу ехидны. Но лучше помолчим, а ты потерпи.

Вокруг стояли спутники Йешуа и молодой пастух. Они зачарованно наблюдали, как Йешуа сильными и ловкими движениями выдавливает гной из раны старика.

— Иоханан, дитя моё, подай посох! — попросил Йешуа.

Он взял свой посох, и тут все увидели, что ручка его несколькими поворотами отделяется от древка, оно же внутри полое, подобно стволу камыша, и заполнено зеленовато-жёлтой мазью с запахами горных трав.

Этой мазью Йешуа обильно смазал рану и даже втёр её в язвины от когтей: при этом старый пастух зажмурился, и закричал.

— Терпи! — сказал Йешуа. — Мазь будет припекать, но ты не смывай её. Завтра твоя рана засохнет, потом покроется чёрной коркой; она отпадёт дней через пять, и ты будешь здоров.

— Благослови тебя Бог! Ты накормил нас и не пожалел своего зелья для такого бедняка, а мне даже нечем тебя благодарить.

— Я исцеляю не ради награды, — отвечал Йешуа, обтирая руки песком.

— Значит, ты ессей.

— Я такой же бедняк, как ты, — ответил Йешуа, — а бедняки должны помогать друг другу.

Пастух с сомнением покачал головой; Йешуа свинтил свой посох и поднялся. Он собирался уходить.

— Скажи мне твоё имя, странник, я буду молиться Богу за тебя.

— Меня зовут Йешуа, сын Иосифа, и я плотник.

— Прости, но ты не похож на плотника.

— *Римлянин подумал то же самое*, — с улыбкой ответил Йешуа. — Симон Кананит, довольно нам мешкать! Где Иоханан?

Они обернулись и увидели неподалёку мальчика, стоявшего неподвижно и смотревшего на песок.

Что ты там увидел? — спросил Йешуа, направляясь к нему.

Иоханан знаком попросил тишины и сказал мягким, успокаивающим голосом:

— Пройди мимо, дружок, мы не тронем тебя.

— С кем ты разговариваешь? — спросил Симон Зелот.

— Не трогай его! Он уже уходит.

И тут все увидели, что Иоханан провожает взглядом огромного желтоватого скорпиона, который исчезал, сливаясь с песком.

— Он подошёл к моей ноге, но я не шелохнулся и велел ему уходить, — сказал юноша. — Вы видели, он послушался.

Три странника распрощались с пастухами и снова двинулись в путь. Местность становилась всё более скудной. Солнце у них за спиной почти касалось горных вершин.

— Не пойму я тебя, — сказал Симон. — Ты юн и слаб, однако не боишься так близко говорить с этим гадом. Я бы раздавил его камнем.

— Люди часто убивают от страха, — сказал Иоханан. — Зачем давить скорпиона? Он тоже понимает добро. Не должно истреблять никакой Божией твари.

Йешуа молча улыбнулся и кивнул головой.

Они начали сходить пологим спуском. Повеял ветерок и донёс до них запах тёплого ила. Впереди на дороге показался огонёк костра.

— Скоро Иордан, — сказал Симон.

— Да, брат мой, — ответил необычный плотник.

Они постепенно приближались к костру.

Потом увидели, как от костра отделились несколько человеческих фигур и пошли им навстречу. Когда до них оставалось пятнадцать шагов, трое путников остановились.

В руках людей, шедших им навстречу, блеснуло оружие.

Глава II. Лагерь за Иорданом

— Стойте! — крикнул один из встречных. — Кто вы и зачем идёте сюда?

— Мы галилеяне, — ответил Йешуа. — Мы хотим услышать слово истины.

— А может быть, вы глаза и уши Ахава?

Именем древнего нечестивого царя последователи Иоханана Пророка называли тетрарха Ирода Антипу. Услышав это оскорбление, Симон ощерил зубы и сунул руку под плащ. Но Йешуа спокойно сказал:

— Мы люди правого пути, сердца наши чисты. Не тратьте слов понапрасну и пропустите нас через реку, ибо мы прошли долгий путь.

В это время к стражам дороги подошёл хромой седобородый старик, при виде которого Симон восторженно воскликнул:

— Анастасий! Нет владыки кроме Господа!

— Нет подати кроме храмовой, — ответил старик.

Они обнялись и закончили разом:

— Нет друга, кроме зелота!

И старик приказал караульным:

— Пропустите этих людей!

Он сам повёл пришельцев к реке, тяжело опираясь на клюку.

— Учитель, — сказал Симон, — посмотри на этого человека. Он был правой рукой самого Иуды из Гамалы.

Йешуа с любопытством присмотрелся к старику.

— Анастасий, я вижу, ты был некогда распят.

— Воистину так, пришелец! Но как ты узнал об этом?

— По твоей хромоте, по следам от гвоздей на ладонях и по тому, что тебя называют Анастасием.

«Анастасиос» по-гречески значило «воскресший».

— Как же тебе удалось спастись, о седобородый? — спросил Иоханан.

— Иуда напал на моих палачей, снял меня с креста. Я был ещё молод, и раны мои затянулись.

За разговорами дошли до Иордана. В конце лета Иордан мелел; это место недалеко от Иерихона так и называлось — «Броды Иорданские».

Анастасий вошёл в реку, осторожно ощупывая дно своей клюкой, за ним пошли трое путников. В самом глубоком месте вода доходила до груди. Перейдя реку, они отжали воду из своей одежды. Теперь они уже находились в Перее, во владениях тетрарха Ирода Антипы.

Иордан служил границей. Он отделял слабо населённую и полуязыческую Перею, восточное владение Ирода Антипы, от Иудеи, которая после низложения Архелая в совокупности с Эдомом и Самарией составила округ Сирийской провинции, управляемой императорским легатом в Антиохии. Этот же южный округ провинции управлялся префектом, подведомственным по важнейшим вопросам сирийскому легату.

Таким образом к западу от Иордана правили римляне, к востоку — чиновники тетрарха галилейского; формально он считался независимым князем, «союзником» Рима, на деле же был игрушкой в римских руках. Однако римские разъезды без важных причин не пересекали Иордана.

Восточный берег Иордана был крут и обрывист. Взобравшись на него, Анастасий и пришельцы остановились, чтобы перевести дух.

Уже вечерело, из Аравийской пустыни напознала ночь. Впереди виднелось много палаток, людей и скота, слышался смутный гул становища. К нему и повёл Анастасий новоприбывших.

Зажигались всё новые и новые огни. Пришельцы вступили в огромный и сильно разбросанный лагерь.

Вокруг костров лежали отдыхающие мужчины, овцы. Вдали паслись верблюды — им не нужны ни пастухи, ни присмотр. Под ногами играли полуголые дети. Повернувшись спиной к дороге, женщины готовили ужин на очагах из сложенных в круг камней. Видны были одеяния разных племён, слышались разные наречия. Назорей с доброжелательным любопытством посмотрел на старого араба с курчавой бородой, который полулежал, откинувшись на выюк, и показывал своим внукам рукою на небо. Он называл имена звёзд, которые одна за другой

загорались на бледно-голубом небосклоне. Тем временем жёны и невестки старика готовили ужин, хлопоча у дымного и тусклого костра; в нём горела куча сушёного верблюжьего помёта, и они пекли барана по-бедуински, зарыв его в песок под костром.

Лагерь состоял большей частью из шалашей; последователи Иоханан сплетали их из ивняка и накрывали сверху плащами. Однако местами, теснясь друг к другу, стояли плосковерхие арабские шатры.

Путеводитель Анастасий свернул в сторону, и тотчас Йешуа поднял перст:

— Он там.

Посреди некоторого свободного пространства стоял небольшой шатёр из чёрного войлока. Перед ним у костра неподвижно лежало несколько человек. Когда Йешуа с его спутниками приблизились, люди у костра поднялись.

Один из них, иудей с ястребиным лицом, в белой льняной одежде, такой же, как на юном Иоханане, поднял с земли копье. Другой, молодой галилеянин, взялся за эфес короткого римского меча, называемого *gladius*. Стройный араб в белом бурнусе вопросительно поигрывал острым дротиком. Четвёртым стражем шатра был беглый наёмник из Тибериады — северный варвар с рыжими волосами. Он высился, словно гора, расставив ноги и до половины обнажив меч.

— Куда вы направляетесь, люди? — спросил молодой галилеянин, держа руку на эфесе гладия.

Йешуа обвёл взглядом эти сосредоточенные и печальные лица, измождённые частыми постами.

— Нам нужен Иоханан, пророк галилейский.

— Не препятствуйте этим людям, — сказал Анастасий Зелот.

Стражи костра переглянулись. Араб высокомерно сказал:

— Ступайте прочь, *Эль Наби* отдыхает.

Арабское «наби» означало то же самое, что еврейское «неби» (пророк).

— Ты ошибаешься, сын Измаила, — сказал Йешуа. — Пророк ждёт нас и считает наши шаги.

Стражи заколебались.

— Ступайте к пророку, — сказал Йешуа, — и возвестите ему, что три ворона прилетели от соли.

Араб и галилеянин, подойдя к шатру, осторожно приподняли входную завесу, переговорили с кем-то внутри и тотчас вернулись к пришельцам:

— Вы сказали правду, добрые люди.

— Эль Наби ждёт вас.

И в это время из шатра вышел и распрямился огромный человек, издалека видный в отблесках костров. Люди вокруг, завидев его, вставали с земли.

— Радуйся, Иоханан! — сказали ему пришельцы.

Он ответил на приветствие с величавой кротостью и обменялся с ними поцелуем. На нём был грубый плащ из верблюжьей шерсти, одежда бедняков; под плащом его одежда была перетянута кожаным поясом. Именно такую одежду, как знали все евреи, некогда носил великий пророк Илия Фесвитянин.

Симон Зелот тотчас вспомнил: «И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил».

Симон сунул руку за пазуху и сжал висевший у него на шее баарас— огненного цвета корешок, отгоняющий духов.

— Войдите с миром, гости! — раздался могучий голос. — А ты, храбрый человек, перестань цепляться за свой амулет, ибо здесь нет духов зла.

Симон остолбенел.

Прекрасное и страшное лицо пророка, иссечённое страстью и скорбями, было опутано гривой чёрных волос, переходивших в длинную бороду; глаза горели сверхчеловеческой пронизательностью.

Мальчик у порога шатра развязал обувь гостей и омыл их ноги. Пророк сам поднял завесу входа, и гости, оставив обувь и нагнувшись, вошли в шатёр. Внутри горела глиняная лампа, и при свете её суровый, печальный человек с ушами, проколотыми толстым шилом, а значит — бывший раб, расставлял скудное угощение.

Гости опустили на циновку, подпираясь одним локтём. Пророк благословил пищу, и они преломили с ним хлеб. Это символическое сотрапезование с пророком было большой честью.

Пища была проста: немного наломанных сот дикого мёда в чашке и проваренная в рассоле и высушенная на солнце саранча («акриды» по-гречески; их ели в оливковом масле). Даже хлеб у пророка был ячменный. Иудеи тогда шутили: «Будет хороший урожай ячменя. — Скажи об этом лошадям и ослам». В римской армии при Августе когорты, бежавшие с поля боя, наказывались децимацией (казнью каждого десятого) и переводом на ячменное довольствие вместо пшеничного. Но гости пророка ели этот ужин бедняков как свою привычную пищу.

После ужина чаша холодной, чистой воды прошла по кругу, и гости вежливо потупились перед лицом пророка. Мужчинам порою приличествует помолчать.

— Я ждал вас, — сказал наконец Иоханан. — Меня известил Ровоам, сын Левия. Хороша ли была дорога?

— Дорога была хороша, пророк, — отвечал Йешуа. — Нам пришлось сделать обход, мы побывали у наших людей возле Иерусалима.

— Легко ли нашли меня?

— Это не так трудно, о премудрый.

— Разве люди в Иудее знают, где стою я с братством моим?

— Лев стирает следы хвостом, но чем стереть следы хвоста?

Иоханан невольно улыбнулся; нет, то была лишь тень улыбки.

— Не встретились ли вам дурные люди?

— Сегодня в трёх часах от твоей заставы мы повстречали сыновей Волчицы на Иерихонской дороге.

— Кто они были?

— Декурион по имени Максим и два воина.

— Чего им нужно в пустыне?

— Они притворились, будто ищут Иону, но это неправда.

Пророк кивнул:

— Ты прав, мудрый ессей. Иона уже взят и ожидает смерти в Городе Могил. Он не успел бежать из Галилеи. Сыны Волчицы рыщут на путях, ведущих ко мне; это соглядатаи.

— Декурион — дурной человек, даже для римлянина, — сказал Йешуа.

— Знаю. Он сделал много зла в Иудее и Перее. Срок его близок.

— Да будет воля Господа!

— Воистину. Теперь — добрые вести.

— Пророк, мы принесли тебе послание старейшин людей Божией воли, живущих возле Мёртвого моря.

Йешуа обернулся к своему племяннику, и тот достал трубку пергамента, спрятанную на груди. Пророк с почтением принял свиток, но не стал снимать с него печать.

— В жилище моём мало света, — сказал он, — да и письма слабее глаголов. Благо, что с посланием пришёл ты, назорей, ибо я вижу, что ты разумен и красноречив. Побеседуем с тобою, а вы, дети мои, ступайте на покой к моим стражам и скоротайте с ними ночь. Они примут вас с честью.

— Иоханан и Симон, — сказал Йешуа, — не забывайте об утренней росе.

Пророк и назорей остались одни. Несколько минут они молчали, ибо суета не подобает мужам. Затем гость медленно заговорил:

— Пророк, ты славен во Израиле. Община людей Божией воли молится за тебя.

— Люди Божией воли живут праведно, и молитва их крепка перед Господом, — ответил Иоханан. — Я жил у них, я помню их науку. Вести Ровоама обрадовали моё сердце. Однако продолжай.

— Пророк, старейшины Енгадди пишут тебе о многих удивительных и страшных знаках, ниспосылаемых Богом в последние годы.

— Я тоже видел эти знамения. Как толкуют их праведники Енгадди?

— Они судят так, что близок час гнева Божия.

— Истина!

— Пророк. Старейшины хотят знать твою волю. Мы ищем соединиться с тобою.

— У меня нет своей воли, я раб Господень! Я провозвестник Того, кто многократно сильнее меня. Что повелит Господь, то я и возвещаю народу верных, — со свирепой скромностью отвечал Иоханан. — Сам я мал и глуп, но Богу

угодно было позвать меня во служение. А чего хотят праведники Енгадди?

— Избавить Израиль от блудодеяний и мерзости языческой.

— Так и будет. Во имя Грядущего за мною я пойду на Город Могил, и тогда Ахав с Иезавелью исчезнут, как летучая трава пустыни, гонимая хамсином. Ибо такова воля Господа, я же послушный раб, светильник ему предносящий.

— Но поход на Город Могил будет лишь началом, о пророк.

— Слова твои темны.

— Разве своею рукою удерживается идумеянин в Галилее? Хватит ли нынешней силы твоей против сыновей Волчицы?

Иоханан наклонил гневное лицо, вглядываясь в собеседника.

— Народ наш, — продолжал Йешуа, — скор на брань, но сухая солома скоро загорается и скоро сгорает. Жива ещё слава маккавеев, но скипетр царский отнят у народа; первосвященство попирается идумеянами и язычниками, в самом Иерусалиме башня Антония возвысилась паче Храма Господня и бросает на него чёрную тень. Роса благословения не падает на нас, и плоды наши не имеют вкуса.

— Кесарю семьдесят два года, — резко ответил Иоханан.

В его устах имя властителя полумира, произнесённое открыто, без всяких иносказаний, прозвучало подобно удару бича. Казалось, даже огонёк лампы вздрогнул от страха. Но лицо Йешуа Назорея осталось невозмутимым.

— Истинно говорю тебе, мудрый ессей, силы Кесаря истощены блудом и пожиранием излишней пищи. Дни его сочтены, и дела его взвешены. Господь при жизни дурного древа начал отсекаль его ветви. Десять лет назад во воле Кесаря отравили его племянника, семь лет назад такую же смертью умер единственный сын Кесаря, в прошлом году отравлена его мать... Близится свершение судьбы его, скоро падёт он во мрак кромешный. Вспомним, как Господь предал Валтасара в руки Кира Персиянина! Вспомним, как парфяне выставили голову проклятого Красса на помост игрища! Это случилось в тот самый год, когда

он ограбил Храм: кара Господня не медлит. Царство Волчицы сокрушится силою Востока.

— Да будет так, — с сомнением ответил Йешуа. — Однако поразмысли, о премудрый! Один падёт в шеол (ад), на престол воссядет другой из той же волчьей породы. Смуты продлятся недолго, легионы Орла утишат северные рубежи и придут мстить за падение Города Могил. Уповаешь ли ты на парфян? Они раньше приходили на помощь Асмонеем. Приходили и уходили. Что ж, они могут ещё раз сразиться с заморскими легионами. Но пока весы будут колебаться, хочет ли Господь, чтобы сливы и смоковницы Израиля стали песком и пеплом.

Иоханан побледнел и закрыл глаза. Грудь его часто вздымалась и опускалась, словно кузнечные меха во время спешной работы.

— Гость мой! — проговорил он шёпотом, но то был шёпот иерихонской трубы. — Гость мой, никто ещё не смел так вопрошать меня — ни даже Антипа Идумеянин!

Йешуа Назорей длинно вздохнул, словно говоря: «где уж мне равняться с такими особами!» Иногда ему была свойственна внутренняя улыбка.

— Гость мой, ты говоришь, как власть. Ровоам долго рассказывал мне о тебе, но я не понял всего. То ли написано в послании старейшин?

— Письмена слабее глаголов, — ответил Йешуа, повторяя недавно реченное пророком.

— Подожди, гость мой! — Иоханан открыл глаза и приподнял руку, тяжёлую, как молот. — Сказанного тобою нет в послании. Подобные глаголы никогда прежде не звучали над морем Лота. Мне чудится новый голос.

— Ты слышишь новый голос, пророк Божий.

— Ты сам по себе! Так поведай мне без утайки, куда ты держишь путь и какая звезда ведёт тебя во мраке.

Да, у меня свой путь. Старейшины Енгадди слушали меня, и открыли великие книги, и думали, и согласились со мной во многом. Я прожил три года в Енгадди. Я прошёл полный искусы людей Божией воли, и вкусил трёхдневный сон, и встал, и омылся. В святой пещере я пил из золотой чаши посвящения вино

виноградника Господня вместе с семьюдесятью четырьмя праведниками.

— Говори тише, Йешуа Назорей! — сурово прошепел Иоханан, озираясь и прислушиваясь. — Это великая тайна.

— Я говорю это тебе, — Йешуа понизил голос, — ибо ты тоже посвящён...

— Да, я удостоился чаши посвящения, но я не знаю Имён, — сказал пророк.

— Я знаю Имена. Великие книги Енгадди открылись для меня, люди Божией воли доверили мне всё тайное. Я восседал с праведными в их суде и совете. Невзирая на мою молодость, они почтили меня, и я вернул им с лихвой долг совета. И всё же скажу тебе прямо — в пещерах над Лотовым морем я только гость, как и повсюду!

— Я понял, что ты другой, — сказал Иоханан. — Ты открываешь всё, но тайна твоя остаётся бездонной. Открой же ещё!

— Ты видел, Иоханан, с кем я пришёл к тебе? — спросил Йешуа.

— Я видел их. Ученик из людей Божией воли, мягкий, как хлеб из печи, но у него великая душа. Другой — галилейский «ревнитель», крепкий, как железо его кинжала: добрый для битвы, но кинжал может сломаться, когда он будет всего нужнее.

— Истину говоришь ты, Иоханан, и я полагаюсь более на того, кто мягок, ибо он не сломается, и хлеб сильнее железа.

— Ты странствуешь с ессеем и зелотом, и это достойно удивления. Значит, ты собираешь новое братство?

— Я не хочу отделяться от верных, и не по душе мне распри между братствами, — просто ответил Йешуа. — С немногими учениками хожу я по земле Израиля, исцеляю больных и даю им советы. Нет у меня твоего огненного жала и твоих бичующих слов, я мало учу, но мы думаем вместе.

— Даёте ли вы клятву?

— Мы никогда не клянёмся, слово наше нелживо.

— Значит, ты всё же ессей.

— Я многому научился у ессеев и советуюсь со старейшинами Енгадди, они любят и помнят тебя. Но люди Божией воли уходят от мира, замыкаются в пещерах и хранят тайну спасения. Я же, подобно тебе, иду в мир и ради мира.

— Благо тебе! — с недоверием сказал пророк, вперяя в Назорея пронзительный взгляд.— Что же ты несёшь миру?

Два взгляда встретились: один как пламя, другой как звёздный свет. Толстая жила вздулась на лбу Иоханана.

— Милосердие, — ответил Назорей.

Звезда оказалась сильнее огня. Пророк опустил голову.

— Я чту закон, — неспешно сказал Йешуа, — но не так, как саддукеи. Знатные и сильные, они брезгуют своим народом, хотят стать греками и угрожают старому блудодею. Всеу поминают они имя Господа, а души их черны и заживо тленны. Ложь их одяние.

— Воистину.

— Я чту закон, но добавляю к нему новое толкование. Нужно, чтобы весь народ уподобился ессеям в жизни праведной. Станем все простыми, будем жить малым, и пусть ни у кого не станет денег на подати, и опустеет казна Иродов.

— Палки неисправному плательщику и ошейник свободному— вот и всё, чего ты добьёшься, — с недоумением ответил Иоханан.

— Нет, пророк, нет! С неимущего нечего взять, и даже римский кенсос (опись) не касается его. Станем бедными, и нечем нам будет платить подати.

— «Нет властителя кроме Господа, нет подати кроме храмовой»?

Назорей кивнул, одобряя ключ и пароль zelотов. Он продолжал ещё тише, словно окутывая пророка мягким светом нездешних своих глаз:

— Пора истине воскреснуть и выйти из погребальной пещеры. Пора Слову греметь и шатать престолы, потому сердце моё возлюбило тебя, глашатай Идущего к Израилю.

— Ты говоришь мудрено. Люди Божией воли чисты и праведны, но они не владеют оружием и землёй. Можно ли весь народ сделать ессеями? И будет ли в том доброе?

— Если все дети Израиля станут так же молиться, как ессеи, носить белые одежды, не вкушать убоины, и на том престанут, то это будет лишь превращением внешнего образа. Я же хочу, чтобы народ оставался на своих нивах и пастбищах и жил жизнью земли, но исполнился бы света, подобно людям Божией

воли, и чтобы возлюбил бедность паче богатства, и не давал бы денег сынам тьмы. Да будет стыдно богатому! Я сожгу долговые расписки и дам облегчение рабам и должникам. Довольно питать гиен и шакалов кровью и плотью Израиля!

— Тогда война? — быстро спросил пророк, и глаза его сверкнули.

— Война ли? — смутно отозвался Йешуа. — Ведь хлеб сильнее железа. Если не кормить воинов, железо выпадет из их рук.

— И ты заставишь сильных мира лютовать неслыханно, и темницы переполнятся праведниками?

— Темницы?

На уродливом лице Йешуа появилась щербатая улыбка. Он радовался, как ребёнок, нашедший халцедон.

— Темницы? — повторил он. — Но сколько верных обитает во Израиле? Пять раз по сто тысяч! На всех не хватит темниц.

— Не хватит темниц? — переспросил пророк, не понимая самого поворота мысли.

— Истинно так! Такой большой темницы нет ни в Египте, ни в Элладе, ни на Семи Холмах Зверя! Нельзя всех посадить в темницу, весь народ.

— Ты забыл, несчастный, как Навуходоносор пахал Сион! Ты забыл падение Храма Соломонова и плач наш на реках вавилонских!

— Угнать нас в плен? Но за что? Мы не станем подымать оружия, доколе не придёт последняя крайность.

— Ты был совсем юн, когда Зверь о семи головах сослал четыре тысячи вольноотпущенников, сынов Израиля, на дикий остров, чтобы они били сардов, а сарды били их! И сослал только за верность Закону!

— А может быть, не стоит бить сардов? — спросил Йешуа, как бы размышляя вслух. — Может, учить их нашему Закону и милосердию?

— Ты собираешься обращать язычников? — вскричал Иоханан.

— Но ты ждёшь чуда от Парфии, а она ли не язычница?

Иоханан в безмолвной ярости смотрел на назорея.

— Хлеб сильнее железа, и малое возвысится. Только в единении сила, потому да исполнится народ братского духа и веры ессеев. Я приму не только канаим, но и самих перушим (фарисеев), если они признают истину и раскаются.

— Как? И этих ехидн? — с отвращением вскричал Иоханан.

— Да, их тоже, если они раздадут имение бедным и отрекутся от зла и гордыни.

— Нет, я не хочу тебя слушать!

— И всё же ты слушаешь меня, — прошептал Йешуа.

Пророк хотел отвести от него свой взор, но не смог.

— Наше братство пока сохраняет тайну, — продолжал Йешуа, — Но мы уже не уходим из мира. Все верные любезны Богу, нет цены знатному роду и нет чести тугой мошне, ибо легче продеть корабельный канат сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное.

— И много ли вас? — спросил Иоханан, невольно покорённый словами гостя.

— Нет, пока немного, но мы соль земли. Тебе ли не знать силы малого?

— Ты прав, гость мой! — сказал Иоханан, в замешательстве запуская пальцы в свою дремучую бороду. — Волею Господа малое возрастет, а высокое умалится.

— Воистину так! Видишь, мы думаем сходно. Люди Божией воли почтили меня, но нет во мне их благой тишины. Не мир я принёс, но меч. Только время ещё не настало, потому я ищу с тобою согласия и порицаю нетерпение.

— Когда же настанет твоё время?

— Когда я соединю пустыню и Шефелу, Ермон и Фавор, всю землю народа Божия от Дана до Вирсавии. Что нам Город Могил? Пойдём на Иерусалим! Изгоним из Храма продажных жрецов, которые едят из рук эпитрона Понтия.

Он намеренно назвал префекта Иудеи греческим титулом эпитрон (наместник).

— Царство Волчицы сокрушится с Востока, — упрямо повторил Иоханан.

— Царство Волчицы сокрушится изнутри, — спокойно ответил Йешуа. — Дом Блуда стоит на лжи. Сыны Волчицы грабят все народы, оскверняют все храмы и опустошают все житницы.

Они отнимают то, чего не сеяли, чтобы тешиться играми гладиаторов и умащать миррою вымена своих блудниц. Вспомни мятежи в Египте и Нумидии! Вспомни тех лесных варваров, которые вырезали три легиона и послали Августу голову проклятого Вара! Как скоро Бог Израиля покарал его за нашу кровь! Горе Вавилону семиверхому, злая смерть написана на челе его!

— Истинно! — прошептал укрощённый пророк.

— Но пусть смерть подойдёт к нему неслышными шагами. Иоханан, избегай короткого гнева и бесполезных браней. Береги праведную кровь, глашатай Мессии!

Иоханан стиснул руками свою косматую голову:

— Мысли мои мешаются. Не знаю, что сказать тебе.

Он поглядел в глаза гостю. Чёрная точка мелькнула перед взором пророка, словно дикая пчёлка. На миг ему почудилось, будто стенки шатра и слабеющий огонёк лампы поплыли по кругу.

— Я околдован.

Йешуа ничего не ответил.

— Послушай, — неожиданно спросил пророк, — правда, ли что ты изгоняешь бесов и даже воскрешаешь умерших.

На лицо Йешуа набежало облачко скуки.

— Исцелять бесноватых труднее всего, — неохотно ответил он. — А воскрешение мёртвых... Раньше, говорят, это бывало. Я же думаю: если Бог призвал человека, кто в силах отнять его у Бога? Нет, дело не в этом.

— А в чём же?

— Если ты выловишь утопленника с водяной травой в волосах и уже без дыхания, ты скажешь: «Он мёртв». Но можно повернуть его лицом вниз, приподнять ему ноги, надавить на живот, и тогда он извергнет воду из уст и ноздрей, чихнёт, и откроет глаза, и станет дышать. Что это будет, по-твоему?

— Вторая жизнь!

— Пожалуй... после неполной смерти. Тут жизнь и смерть качаются на весах судьбы, да вмешается братская рука. Мне случалось видеть, как мнимую смерть люди принимали за полную, и оплакивали, и готовили плащаницу, я же замечал, что весы колеблются.

— И ты вмешивался — дрогнув, спросил Иоханан.

— Да, я вмешивался. Ведь если мне дано заметить на челе мнимоумершего чаяние второй жизни, значит Бог избрал меня в помощники. И тогда я исполняю угаданную волю Господню. Знание моё от Бога.

— Но где ты научился ему?

— По большей части у нас в Галилее. На галилейских пахарей и пастухов смотрят в Иерусалиме, как на неразумных тварей. А ведь галилейские старики многое знают. Рыболовы нашего моря не только умеют плавать, но и спасать тонущих.

— Но ты давал вторую жизнь не только утопленникам?

— Бывает подобное и от других причин. Об этом я знаю от людей божией воли, с которыми беседовал в Енгадди, и от иных врачевателей. Искусные в этом деле ходят по всей земле и меняются знаниями: в этом нет греха, ибо Бог желает пасти всякую тварь.

— А язычников?

— Он ждёт, у него много времени. Вспомни, как Иона прорицал гибель Ниневии, а Господь медлил с этой карой. Богу было жаль даже Ниневии. Язычники могут раскаяться? Не дочь ли Фараона спасла Моисея?

Они долго молчали; наконец, длинные пальцы Назорея прикоснулись к могучей руке пророка:

— Наступает век соединения. Согласимся ли мы с тобою? Соберём ли всех верных на одной дороге?

Дашь ли ты мне своё благословление?

— Я не должен крестить тебя! — в последнем приступе сопротивления сказал Иоханан. — Ты обманываешь меня. Ты познал колдовство.

— Ты знаешь, что это не так, — грустно ответил Йешуа. — Ты сам не веришь тому, что сказал. Ты слышал от меня истину. Решай же!

Огонёк безумия блеснул в глазах Иоханана.

— Разве ты не знаешь заранее моего ответа?

Йешуа не слишком удивился.

Долгим и невероятно тяжёлым взглядом этот горький урод проник в душу пророка и, осторожно подбирая слова, ответил:

— Да, я знаю, как ты ответишь. Я знал это, ещё не выйдя из Енгадди. Но ты должен сам произнести ответ, ибо такова воля Господа, и моё предзнание не избавляет тебя от бремени решения.

Голова Иоханана упала на грудь. Настала громоподобная пауза. Казалось, что на мгновение остановился ток Иордана и замер песок пустыни, перестав пересыпаться.

— Народ слушает меня, — обессилено сказал Иоханан.

— Сегодня ты Илия.

— Народ слушает меня. Я многое могу. Что можешь ты?

— Всё, — шепнул Йешуа, сын Иосифа.

Иоханан поднял голову и одними губами выразил согласие.

— Что ты говоришь, пророк?

— Я говорю тебе: да.

Масло выгорело, лампа угасла. В темноте галилейский пророк и странствующий врачеватель продолжали обсуждать и согласовывать проект революции.

Тактике зажигательных проповедей и локальных мятежей Йешуа противопоставил тактику глубинного проникновения и великого отказа. Он настаивал на проповеди среди всех сословий, на привлечении фарисеев, на поисках праведных душ даже в стенах осквернённого Храма. Не кормить более гиен и шакалов кровью и плотью Израиля, беречь праведную кровь, остерегаться зла и дейтельно выжидать.

Незадолго до рассвета они выработали свой исторический компромисс. Иоханан санкционировал секретные переговоры с фарисеями в целях создания патриотического блока и принял посредничество Йешуа Назорея.

Для отдыха оставалось не более двух часов. Они вышли из шатра вдохнуть воздух ночи.

Стражи пророка и ученики Йешуа спали, прижавшись друг к другу. Только араб дремал сидя, держа на коленях свой дротик.

Услышав дыхание и шаги двух бодрствующих, араб откинул с лица покрывало, осторожно протёр глаза и присмотрелся. Двое стояли близко друг к другу.

Высокий силуэт пророка склонял свою голову к Другому, ловя каждое слово.

Арабу сделалось не по себе.

Но всё было так мирно и благостно. Лагерь спал. Где-то далеко от него кричали шакалы. Араб снова впал в дрему.

— Кстати, Йешуа Назорей, скажи, откуда ты родом?

Гость обратился к пророку свои тяжёлые глаза. Он казался смущённым, ему не хотелось отвечать. Но, будучи человеком правдивым, он всё же ответил, очень негромко, вскользь:

— Я родился в Вифлееме Давидовом.

Иоханан задрожал.

Бет-Лехем, город царя Давида!

Бет-Лехем по-еврейски означало «Дом Хлеба». Давно было известно, что Мессия придёт от семени Давидова. И было ещё великое предсказание пророка Михея: Мессия должен родиться в Бет-Лехеме Давидовом.

— Неужели это Ты? — без голоса закричал Иоханан, и кровь забушевала в его висках.

Йешуа понял этот свистящий шёпот. Он поднял голову, повёл взглядом по крупным звёздам пустыни, слабо улыбнулся и начал отвечать, но Иоханан ничего не услышал, потому что от внезапного потрясения на несколько минут лишился слуха.

Глава III. Иордан

Солнце отряхнулось от песков Аравии, окрасило в лазоревые тона суровые хребты Иудеи и Переи, посетило лагерь и воссияло над водами священной реки Иордан.

Народ в лагере постоянно обновлялся, люди приходили и уходили, всё далее разнося молву о человеке, который живёт в иудейской пустыне и своею проповедью напоминает пророка Исайю, а своею жизнью — Илию; иные оставались возле него подолгу, другие, откочёвывая со стадами, всё же боялись пропустить явление Мессии, и потому держались в пределах дневного перехода от Иордана.

В лагере было много оружия. Иоханана тайно упрашивали объявить священную войну против детей Ирода и римлян. Пророк выжидал.

Ждал ли он знамения Божия или какого-то крупного политического события? Впрочем, последнее в накалённой атмосфере страстного ожидания Мессии неизбежно сыграло бы роль знамения свыше. Скорее всего Иоханан ждал смерти Кесаря, чтобы броситься на Тибериаду. Смерть Кесаря могла повлечь за собою вспышки в провинциях, волнения легионов, вторжение парфян. Иоханан, в духе еврейской традиции, ориентировался на Восток.

Солнце взошло, и лагерь ожил. Утренняя дойка верблюдиц, блеяние овец, лай собак, составили обычную симфонию восточного оазиса. Лагерь отличался чрезвычайной пестротой. Кроме главных поклонников пророка, галилеян (северных евреев), здесь были идумеи со своими овечьими стадами, беглые наёмники Ирода Антипы, целые семьи чистокровных иудеев и даже иерусалимские левиты (священнослужители из колена Левиина); было много канаан (зелотов) и даже попадались раскаявшиеся разбойники. Несколько племён арабов со своими верблюдами и овцами разбили здесь свои шатры: язычники пустыни уже искали своего Бога, и в лице Иоханана, которого они называли Яхья, им открылся истинный пророк Аллаха (Аллах — то же самое, что еврейский Элох, Бог). Может быть, среди алчущих великого слова были и самаритяне, презираемая часть еврейского народа (ибо Самария не считала Храм подлинным местом пребывания Бога), но

в таком случае они скрывали своё имя. Иудеи ненавидели их сильнее, чем язычников.

Вся эта пёстрая масса торопливо завтракала; затем мужчины начали собираться в группы.

И вот Иоханан вышел из своего чёрного шатра. Солнце поднялось уже довольно высоко. Пророка окружила ревнивая толпа ближайших последователей. Среди них узнавали галилеянина Иоханана, сына Зеведея, рыбака с Геннисаретского озера; медноволосого варвара, который был прежде одним из телохранителей Ирода Антипы; иудея Натана из Хеброна, сына священнического рода; араба Хасана со своим неразлучным дротиком. В окружении пророка были замечены и новые лица — маленький и очень безобразный назорей, а с ним поджарый желот с гордой осанкой и красивый мальчик, ученик назорея.

Когда Иоханан явился, разразилась буря приветствий:

— Смотрите, смотрите, вот идёт пророк!

— Радуйся, Иоханан!

— Яхья эль Наби! Яхья эль Наби!

— Иоханан, возвести нам о Мессии!

Закалённый солнцем пустыни, этот Голиаф с лицом ясновидца поражал своей красотой: страшная мудрость и безмерная горечь соединились в этом лице, красноватом, словно гранит Синая. Осанка его выдавала и врождённую гордость, и привычку к любым обстоятельствам — золотым палатам, пещерам, шалашам, безразлично...

Предвидел ли он свою судьбу? Видел ли душевными очами, как его львиную голову подымет на золотом блюде тонкая идумеянка, ликуя и смеясь всеми своими жемчужными зубами?

Нет, вряд ли. Конечно, он понимал, на что идёт. Он выбрал великую судьбу, а для иудея это означало неминуемую гибель от меча, копья или слоновой пяты; или он будет заживо сожжён, или удушен, или распят, или умерщвлён ещё каким-нибудь из тысячи способов, какие измыслило людское хитроумие, вечно бегущее от однообразия. Иоханан понимал, что история повторяется и что великая судьба всегда печальна. Но он же сознавал, что история непредсказуема и что будущее — поле нашей свободы. Не мог он предвидеть и своей гибели.

И вот Предтеча Мессии, «Лев, вопиющий в пустыне», занял своё место перед деревянным престолом, под сенью грубого навеса, покрытого ветвями и козьими шкурами. Около трёх тысяч человек полуколыцлом окружали его, медленно смиряя своё волнение.

Цари земли показались бы в сравнении с Иохананом ничтожными зазывалами. В нём не было ни бравурного полёта Александра Великого, ни холодной помпы кесарей, ни иератической важности персидских царей. Он стоял перед народом прямой, как пламя в безветренный день. Глядя на него, всякий мог почувствовать, какое это мучительное счастье — гореть.

И раздался голос пламени:

— Покайтесь! Приготовьте пути Господу, прямыми сделайте стези Ему! Вот идёт за мною Тот, который впереди меня, ибо Он был прежде меня!

Религиозное мышление евреев было склонно к парадоксам; они даже в величайших национальных бедствиях усматривали свидетельство исключительного внимания Бога к избранному народу и черпали силу в катастрофах. Иоханан был типичным представителем такой парадоксальной ментальности, и в его самоунижении таилась гордыня. Он напомнил бы греку Диогена Киника, гордость которого сквозила сквозь дыры его плаща. В своей проповеди Иоханан сравнивал себя с рабом:

— За мною грядёт Тот, кому я не достоин отрезать ремень от обуви Его!

Он сыпал угрозами, как молниями. Он обличал мытарей за вымогательства, воинов за их насилия и нечестие, богатых и знатных за лицемерие и жестокость к беднякам. Лицемерам он грозил карой, а жестоковыйным — полным истреблением. Называя саддукеев и фарисеев змеями и ехиднами, он предвещал им гибель в выражениях, понятным земледельцам:

— Уже и секира при корне дерев лежит! И лопата уже в руке Его, и Он очистит гумно своё, и соберёт чистое зерно в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым!

Он прямо намекал на греховную чету властителей Тибериады:

— Иезавель будет сама молотить зерно в ступе, Ахав же просить милостыню на распутьях чужеземных дорог!

Он вещал внезапное и скорое пришествие обетованного Мессии:

— Грядёт вершитель правосудия, истинный царь Израиля! Он поднимет меч Маккавеев, прогонит язычников и покарает всех виновных в нечестии!

Таким образом, этот ученик ессеев представлял Мессию в образе воителя, как думали и «канаим» (зелоты). Мессия вступит в Иерусалим, восстановит Царство в мире и справедливость и вознесёт Израиль превыше всех народов земли. И далее Иоханан, вспоминая пророчество Исаи, разворачивал перед заворожённой толпой иудейскую утопию:

— И почиет на нём дух Господень, дух премудрости и разума, дух света и крепости, дух ведения и благочестия. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине!..

Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, барс лежать вместе с козлёнком, и малое дитя будет водить могучего льва.

— «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей!»

Но мечта Исаи о счастье «грядущего времени» — только светлая передышка. Снова голос Иоханана подобен лвиному рыку: покаяние и приготовление к встрече, отвержение греха и обетование прощения кающимся, пламя пожирающее для нечестивцев и свет утешающий для чистых и непорочных, ибо им уготовано Царство Небесное.

Затаив дыхание, народ прислушивался к тяжёлой поступи Мессии. Скорее подготовимся к его пришествию раскаянием и очищением сердца! Проторим для него пути и спрямим ему!

Малка Машиах, Царь-Помазанник: в переводе на койнэ эти слова звучали «Басилевс Христос».

Великая надежда евреев, но и великий страх: ведь он будет отбирать достойных для Царства. Каков он, *Машиах* (Мессия)? «И достоин ли я?» — задавался вопросом каждый.

И жутко гремело для слабых сердец заключительное слово Иоханана:

— Я крещу вас водою, а Он будет крестить вас огнём!

Увы, этому суждено было сбыться, но совсем не так, как предполагал человеческий разум Предтечи. Ибо у пророков ведь

тоже обыкновенный человеческий разум: и житейски, и политически царь Соломон был гораздо умнее Илии Фесвитянина или Иоханана Крестителя. Пророки нужны нам не ради их разума. Их сила — внелогическое мышление в масштабах целых наций; из совокупного мышления народов и рождается пророческий дар, то есть всемирноисторическая интуиция.

Когда Иоханан закончил свою проповедь, толпа разошлась, повторяя сказанное им. Ближайшие его ученики, очень похожие на ессеев своим печальным обликом, худобой от частых постов и простотой одежды, подали пророку чашу свежей воды и чистый плат. Он утёр пот с лица, выпил воду и ушёл в свой шатёр.

Но отдых его был недолог. В лагере поднялось волнение; кое-кто схватился за оружие. Пророк вышел вновь, потревоженный шумом.

Оказалось, что к нему прибыли посланцы из Иерусалима. Вскоре, окружённые угрюмыми стражами становища, показались богато одетые люди, приехавшие верхом на мулах. Они озирались на толпу со страхом и омерзением. Близ шатра Иоханана они спешили, и один из них, гордый иудей в одежде полугреческого покроя, выступил вперёд:

— Мир тебе, Иоханан!

— И вам мир, мужи иерусалимские!

— Мы посланы к тебе санэдрином. Отпусти народ, дабы мы могли говорить с тобой.

В арамейском языке «санэдрин» было искажением греческого слова «синедрион» (собрание): так назывался высший совет иерусалимской иерократии.

— Не в обычае Израиля отгонять соплеменников от порога беседы, — ответил Иоханан к восторгу толпы. — Дети мои! Принесите воды этим людям! Войлока для сидения, четыре шеста и навес!

Требуемое явилось, как по волшебству. Пока пришельцы утоляли жажду, десятки рук воткнули в песок шесты, натянули на них навес, постелили в тени его войлок и даже покрыли дырявыми коврами. На нём Иоханан усадил посланцев и сел с ними, но у самого края, приказав напоследок напоить и накормить мулов. Воцарилась тишина.

Посланцы, оглядываясь на густую толпу, обступившую это место, колебались и медлили. Наконец, после небольшого разговора между собой, они все обратились к одному из них; он кивнул головой и встал на ноги.

Высокий и изящный, он казался лет сорока; в бороде его серебрилась первая седина, светлое лицо изобличало острый ум и привычку к общему уважению. На лбу его виднелся миниатюрный *тефиллин*, укреплённый на голубой ленте; этот кожаный ящичек с выписанными из Писания изречениями на листочке лучшего пергамента, служил и амулетом, и признаком набожности. У его спутников тефиллины были крупнее и бросали тень на пол-лица; только первый, в полугреческой одежде, не носил тефиллина. Фарисеи считали всех, кто не носит тефиллина, презренными невежами, людьми земли. Но их гордый спутник был не «ам гарец» (человек земли), а богатый эллинизированный еврей. Он просто не хотел подчёркивать своей веры и национальности.

— Я Гамалиил бар Симон, — сказал оратор посольства, — я учу людей Закону.

Почтительный шёпот пролетел по толпе: говорящий был не простым раввином, а внуком великого Гиллеля. Как законоучитель, Гамалиил отличался вольномыслием и изысканностью. Но Иоханан ничем не ответил носителю громкого имени, лишь на миг смежил веки в знак того, что слушает.

— Святой санэдрин послал нас узнать у тебя нечто, Иоханан.

— Спрашивай, — ответил Иоханан.

— Смятение восстало на стогнах, и шумы слышны на торжищах. Соблазнились о тебе многие, о купающий в Иордане! Одни говорят: «Вот уже пришёл Мессия», иные: «Воскрес Иеремия, великий пророк!» — а третьи: «Илия вернулся на землю». И вот не чтят Храма и священства, кощунствуют и согрешают, а рабы становятся строптивы, и должники угрожают заимодавцам. Потому санэдрину уместно узнать, откуда пошло такое смятение. Итак, поведай нам: *кто ты*?

— Я зовусь Иоханан, сын Захарии, священника, дом его был у Хеброна, а ныне мой дом — пустыня, и двенадцать колен Израиля — родство.

— Санэдрину ведомо твоё родство и семейство, — спокойно возразил Гамалиил. — Ответь нам о именах, которые даёт тебе молва.

Иоханан встал, усмехаясь горько и презрительно.

— Я не Мессия, не Илия и не пророк.

Последнее означало, что он не принадлежит к сонму великих пророков древности, воскресения и прихода которых евреи ждали перед явлением Мессии.

Услыша эти слова, толпа испустила дружный вздох разочарования. Суеверный и мечтательный народ видел в Иоханане существо не то чтобы сверхъестественное, но во всяком случае лично общавшееся с ангелами и пророками.

Зато посланцы санэдрина начали перешёптываться с видом успокоения или облегчения. Они уже достигли своей главной цели.

Но Иоханан поднял руку, и всё стихло.

— Я недостоин и мал! — громовым голосом пожаловался он. — Я слаб и убог. Но за мною идёт Судья неумытный и Царь правосудный. Он очистит ниву Израиля от сорной травы и соберёт чистую пшеницу. Невелико будет число тех, которые встанут вокруг престола Его! Покайтесь, пока не поздно!

— Иоханан! — твёрдо и спокойно перебил Гамалиил. — Когда Он придёт?

Толпа затаила дыхание. Ответ заставил себя ждать.

— Одна ночь осталась до утра, — задумчиво и неспешно зарокотал голос Льва Пустыни. — Одна светлая ночь полной луны. Но кто измерит путь Его и кто исчислит шаги Его? Может быть, час уже настал. Может быть, Он уже здесь, но ещё не открыл своего лица.

— Где — здесь? — с видом озадаченного ребёнка спросил Гамалиил.

Он был явно сбит с толку. Иоханан посмотрел на него с бесконечным высокомерием. Настал миг его торжества, и он смаковал эти секунды.

— Здесь, среди нас, — буднично пояснил он. — Стоит и слушает эти речи. Кто знает, не говорим ли мы в Его присутствии?

Снова вздох пролетел по толпе — нет, скорее стон испуга. Какой-то юноша в первых рядах толпы без памяти рухнул на песок: впрочем, то мог быть и солнечный удар. Гамалиил в

изумлении воздел руки. Другой посланец вскочил на ноги и начал дико озирать лица толпы.

— Одна ночь, только одна ночь, — повторил Иоханан. — И утром Он преобразится на Фаворе, и явится, одетый в сияние. Ждите с Ним Илию и ещё Иного, кто вышел Илии. И все узрят Того, кем пренебрегали, в великой силе и во всей славе Его. Одна ночь полной луны...

Голос его угас, на глазах как бы показались слёзы, ибо он на миг подумал о себе. Но тут же разъярился на собственное малодушие, выпрямился и натянулся, как струна. Голосом сильнее урагана он посулил посланцам санэдрина:

— И тогда горе вам! Ибо Он воздаст сторицею за слёзы малых и за кровь невинных!

Рёв ярости и восторга раздался кругом. Люди кричали и плакали, как безумные. Посланцы санэдрина, уничтоженные, прижались друг к другу. Иоханан отвернулся от них и пошёл к своему шатру. На пороге он остановился.

— Дайте им есть, если они захотят, — сказал он Натану и Анастасию, — а потом, как только спадёт жара, проводите обратно на пять часов пути. Негоже им оставаться в нашем стане! Да смотрите, чтобы с ними не случилось худого.

И он ушёл к себе, ибо нуждался в отдыхе.

Начальствующие в лагере люди в точности исполнили его приказ.

Солнце начало склоняться к закату, когда пророк снова вышел из шатра, чтобы отправиться в Иордан для обряда крещения. Посланцы санэдрина были уже отосланы, и вечером достигли Иерихона.

Иордан, река длиною в 215 километров, течёт с севера на юг, протекает через Геннисаретское озеро и впадает в Содомское или Мёртвое море, оно же Лотово озеро, бессточное и горько солёное; оно лежит в самой глубокой впадине нашей планеты. Обычная ширина Иордана в среднем течении — тридцать метров, и это единственная крупная река Палестины.

Западный (правый) берег Иордана был плоским, а восточный — крутым и обрывистым; стены этого обрыва покрыты густыми кустами олеандров. Чуть далее к востоку находился стан Пророка.

На плоском западном берегу тощая растительность солончаковой пустыни сменялась у реки зелёной каймой кустарников. Преобладал тамариск (гребенщик), в изобилии покрывающий всё нижнее течение Иордана; это небольшое деревце не боится ни соли, ни засух, по направлению к горам, тамариск мешается с буйным, колючим терновником; на восток, к реке уступает место иве. Берега Иордана окаймлены камышами; изредка в них ещё попадались тогда крокодилы, позднее совершенно истреблённые.

Недалеко от лагеря Иоханана река образовывала небольшой мелководный залив, естественное подобие купели или бассейна: это и было место крещения.

Позднее греки называли этот обряд *«баптисмос»* («погружение в воду»). Издавна омовения лица и рук входили в ритуал разных религий. Правоверным иудеям предписывалось совершать множество различных омовений, обставленных детальными правилами и специальными молитвенными формулами. Но весь этот богато разработанный церемониал превратился в формально-традиционную игру с водой, исполнявшуюся в невозмутимом спокойствии духа.

Ессеи, составлявшие тайную, но непримиримую оппозицию Иерусалимскому Храму, в отличие от древних книг и всех традиций иудаизма потребовали от верных *духовного* очищения как необходимого компонента ритуальных омовений. Этими тайными установлениями Сыны Света (как называлась одна из главных общин ессеев) уже приблизились к таинству крещения.

Но всё же в «баптизме», крещении, есть нечто, совершенно неведомое евреям: обряд совершается под открытым небом, в водах священной реки. В религии далёкой Индии уже в древности считалось необходимым для всех верных очищающее купание в водах святого Ганга. Но там каждый купается сам по себе, молитвенно сложив руки и сосредоточившись в обращении к Богу. Обряд, введённый Иохананом, отличался от всех иных омовений или купаний.

В Писании есть одно пророчество, на которое ссылался Иоханан: «И окроплю вас чистою водой, и вы очиститесь» (Иезекииль XXXVI, 25). Соединив это «окропление» с восточным купанием в священной реке, Иоханан ввёл *одноразовый* обряд

купанья, символически обозначавший очищение человека от всего греховного прошлого, покаяние и вступление в новую религиозную эру. В знак разрыва со старой жизнью многие иудеи, окрещённые Иохананом, даже *меняли свои имена*. Крещение было переходом из царства необходимости в царство свободы, из века рабства, тьмы и неправосудия в эру Мессии.

Окрещённый Иохананом считал себя готовым к Его пришествию: во всяком случае, подготовленным к этому лучше других. Поэтому народ со всей Иудеи валил к Иоханану бесчисленными, сменяющимися волнами.

Несколько остыв после беседы с посланцами синедриона, Иоханан вошёл в воду Иордана. Свой плащ из верблюжьей шерсти он повесил на иву и остался в простой полосатой сорочке. Солнце, медленно склоняясь к Иудейским горам, озарило его могучую фигуру. Длинной чередой новокрещаемые потянулись к реке; за церемонией наблюдали с берега сотни уже крещённых.

Обнажённые до пояса, новокрещаемые поочерёдно входили в Иордан и склоняли голову перед пророком. Обряд состоял из погружения в купель и благословения. Люди не купались сами, их *окупал* (что и значит слово «баптисмос»), купал Иоханан, как заботливый отец купает своих детей. При этом он с монотонной торжественностью повторял одну и ту же формулу крещения от имени Сына Божия, то есть Мессии.

Вдруг череда верных удивлённо колыхнулась. Иоханан оглянулся и замер.

Что с ним случилось?

Пророк, подняв голову, смотрел на берег.

И в этот же момент на чистом иудейском небе внезапно появилась одинокая тучка и стала расти, постепенно заслоняя солнце. Это было поистине удивительным, потому что в Палестине всегда только два времени года — сухое и дождливое. Летом дождей не бывает, осень очень тёплая (октябрь не холоднее июня). В конце октября южный ветер приносит «ранние дожди», и начинается иудейская зима, с морозами до двух градусов ниже нуля по Цельсию, иногда со снегом (не каждый год). В ту пору, о которой мы рассказываем, до «раннего дождя» оставалось ещё десять дней. Тем не менее, туча росла. Озадаченные евреи смотрели то на небо, то на Иоханана.

Он же смотрел на берег. В череде крещаемых приближались двое в белых льняных одеждах — праздничных одеяниях братства ессеев, именующих себя «людьми Божией воли», «бедняками», «младенцами», «сынами света». Ессеями называли их другие. За двумя ессеями шёл смуглый полунагой галилеянин с осанкой воина; на шее у него висел огненного цвета волшебный корешок — *баарас*.

Первый из ессеев, небольшой человек с нестриженными волосами, отличался своим печальным, уродливым лицом, худым и малым телом, но в то же время — прямой и спокойной осанкой. С ним резко контрастировала изящная фигура подростка с лицом робким и нежным, как у девушки: он взволнованно цеплялся за руку старшего, словно ища у него успокоения.

Тихий шёпот пролетел по толпе: люди узнали в безобразном есее того странного человека, который говорил с пророком до третьей стражи и о котором ползли по лагерю удивительные слухи.

Туча, гонимая ветром, уже застлала полнеба и в отдалении послышалось ворчание грома, и тень пала на берег Иордана, когда Йешуа Назорей вошёл своею чередой в залив и, как все, погрузился в воду, склонив голову перед пророком. Потом он поднялся по груди.

Струи священной воды смочили его голову и потекли по спине. Затем Йешуа поднял голову, и пророк вздрогнул.

Опять эти глаза!

На мгновение словно дикая пчёлка замелькала перед взором Иоханана, и всё поплыло по кругу: горы, Иордан, камыши, толпы людей и самое небо. Затем мир в глазах Иоханана вернулся в обычное состояние.

Дрожа и слегка заикаясь от длительного пребывания в воде, Иоханан спросил — и не забыл умерить свой голос:

— *Скажи, не ты ли Мессия?*

Никто не слышал этих слов кроме Йешуа и юного ессея Иоханана, шедшего следом за своим учителем. Мальчик побледнел и дико уставился на пророка. А тот уже пожалел о своём вопросе, ибо здесь было неуместно вопрошать о таком.

Йешуа ничем не выразил своего удивления. Как же так, ведь он уже ответил на этот вопрос перед восходом солнца. Неужели пророк не понял его тогда?

Безмолвно склонил Йешуа голову с мокрыми, слипшимися волосами и сложил руки, испрашивая у пророка благословения.

Иоханан торжественно простёр над ним обе руки, благословляя его.

И по совпадению, которое удивительно, но возможно, в этот самый миг прямо над ними блеснула многоветвистая молния, треснул сухой и страшный удар грома.

— Бас-Кол! Бас-Кол! — в суеверном ужасе зашумели евреи. Они побледнели, многие схватились друг за друга, и голоса звучали испуганно.

«Бас-Кол» означало по-еврейски «голос с неба». Голос этот мог быть громом, или долгим откликом естественного эхо, либо другим стихийным звучанием природы. Признаком небесного знамения служило само совпадение звуков стихии с поступками или речами людей.

Когда Иоханан крестил Назорея, сверкнула молния и грянул гром.

Но грозы так и не дождались. Ветер погнал тучу дальше, в сторону Геннисаретского озера. Над местом крещения светлело.

Йешуа вышел из воды в сосредоточенной и строгой думе, не замечая робости и удивления, окруживших его. Он остановился под ивой, поджидая своего племянника и Симона Зелота.

И тут люди снова зашумели вокруг, указывая руками вверх по реке.

— Огонь на воде! Огонь на воде!

Йешуа тоже вытянул шею, рассматривая диво. Посреди Иордана горел огонь, поднималась тонкая струйка дыма.

В этот момент к нему подошёл Симон Зелот.

— Симон, видишь ли ты, что там горит? — спросил Йешуа.

— Сломанное дерево застряло на мели, а молния зажгла его, — через мгновение ответил зоркий Симрн.

— А люди думают, что горит сама вода, — сказал Назорею подошедший в этот миг Иоханан, племянник и ученик Йешуа.

Араб Хасан вынырнул из толпы и с низким поклоном приблизился к Назорею. Он смотрел на него огромными глазами.

— Айса Хаким! — сказал он, едва шевеля пересохшим языком. — Молния зажгла воду, когда Яхья Эль Наби окунал тебя. Я сам это видел.

— Не говори никому об этом! — строго ответил Йешуа.

Измаильтянин приложил руку ко рту, кивнул и снова растворился в толпе. Косые лучи золотого солнца ласково засветились над Иорданом, и небо очистилось полностью.

Глава IV. Опасные тропы

Ночью в стане пророка явились новые искатели истины, и среди них — двое друзей Йешуа Назорея.

Один из них, молчаливый рыбак Андрей с Геннисаретского озера, был товарищем его детских игр; другой был странник Фома, его часто называли Дидим, по-гречески «близнец», что было точным переводом еврейского имени «Фома». Он неделю назад вернулся из Месопотамии, был чёрен от солнца и ещё не снял одежду странствия. Арабы, попадавшие в лагере Иоханана, заговаривали с ним на его языке, и он отвечал им на всех наречиях Аравии. Неутомимый бродяга, он знал и любил Восток.

Фома мог бы многое пересказать, но сейчас важнее были вести из Галилеи. Андрей застал Йешуа в шатре пророка и поведал обоим, что Иона схвачен в Хоразине и доставлен в Тибериаду; видимо, скоро он предстанет перед Господом. С ним вместе взят Иаков, брат Йешуа. По всей Галилее свирепствуют воины Ирода и сборщики податей. Мария, мать Учителя, зовёт его.

Йешуа попросил Иоханана Пророка отпустить его. Пророк сказал:

— Путь не близок. Не окажешься ли ты в дороге, когда наступит суббота?

— Я выйду тотчас же и буду идти ночами, а в полдень отдыхать. Если Богу будет угодно, мы успеем в Кану до субботы.

— Какой дорогою ты пойдёшь?

— За Иорданом, ибо не хочу вступать на землю самарян.

Дорога по западному берегу Иордана неизбежно пересекала Самарию, отделявшую Иудею от Галилеи. Йешуа, как и все евреи, считал самарян отступниками правой веры.

— Остерегайся дурных людей! — сказал пророк.

— Со мною будут уже не два спутника, а четверо.

— С тобою пойдут пятеро, ибо я отдаю тебе моего соименника Иоханана, сына Зеведея. Человек этот — вернейший из верных, настоящий галилеянин. Да будет он вестником между тобой и мной.

Пророк вызвал Иоханана и велел ему собираться в путь с Йешуа:

— Повинуйся ему, как мне. В мире больше нет подобных ему.

Слуги пророка дали путникам воды, хлеба, маслин и рыбы. Пророк на прощание обнял Назорея и благословил его.

Итак, шесть человек выступили на север. Дорога тянулась вдоль Иордана, то вздымаясь, то ныряя в долины. Это была Перея, край суровый и опасный, но зато населяли её верные иудеи. Рядом с Йешуа шёл и его племянник Иоханан и Андрей Рыбак, за ними Симон Кананит и Иоханан Рыбак, а замыкал группу Фома Странник, которому ещё предстояло прославиться в веках своим скептицизмом.

Они шли почти без остановок пять часов. На закате солнца остановились для молитвы, немного поели и утолили жажду. После двухчасового отдыха пошли далее. Все они, даже юный ессей, привыкли к дальним переходам, всех подгоняла мысль о брате Учителя, заточённом в Тибериаде. Наступила ночь. Дорога шла горами.

В этом краю некогда находилось царство аморреян, уничтоженных Моисеем в его упорном продвижении на Иордан. Ночной мрак, суровый ландшафт долгая ходьба постепенно заставили умолкнуть все разговоры, и шестеро шли молча, погружённые в свои мысли.

Колючие кустарники обступали дорогу.

Вдруг неподалёку раздался крик филина. Известно, что эти птицы любят гнездиться в развалинах, а Перея издревле служила ареной жестоких войн, и в ней было столько же руин исчезнувших городов, сколько и городов обитаемых.

Крику филина близ дороги ответил другой такой же крик — на сей раз впереди путников. Что-то затрещало в кустарниках.

— А ведь это не филины кричат, — заметил Фома.

Никто не ответил. Дорога вилась по горному склону, слева чернел обрыв. Приходилось ступать очень осторожно. Тут филин крикнул в третий раз.

Путники заколебались. Симон Зелот решительно двинулся вперёд. И тут впереди показался тусклый огонёк. Все пошли за Симоном.

Прошли шагов двадцать: огонёк словно висел над дорогой. Сделали ещё несколько шагов, и у всех (кроме одного) вырвался крик ужаса.

Они увидели над дорогой лошадиный череп со светящимися глазами.

В ту эпоху мир был заражён суевериями. Евреи и римляне, вавилоняне и греки, египтяне и скифы одинаково верили в духов.

Наши путники в страхе смотрели на диковинное явление. И тут за спиной их послышались шаги многих людей.

Обернувшись, путники увидели, что следом за ними по дороге поднимается большая группа людей, переговариваясь громкими голосами. Призрачный свет месяца позволил различить их тёмные лица и оружие в их руках.

— Это ловушка, — сказал Йешуа Назорей. — За мной!

Он двинулся вперёд, не оборачиваясь, прямо к страшному черепу.

Подняв свой посох, он ударил по черепу, который слетел на дорогу, обнаружив горящую жердь; на неё-то и был он кем-то насажен, что создавало столь страшный вид. Йешуа ногою столкнул череп в обрыв.

Зоркий Симон Зелот с воинственным криком бросился в кусты, где заметил нечто подозрительное; послышался треск, возня, и через несколько мгновений Симон скатился обратно на дорогу, волоча за волосы человека в лохмотьях. Бросив его на дорогу, Симон выхватил свой короткий кинжал.

— Не смей проливать кровь! — приказал Йешуа.

Симон повиновался, но так ударил своего пленника, что тот завопил от боли. Фома начал собирать камни. Вооружённые люди приближались медленнее.

— Братья, на помощь! — крикнул пленник Симона, человек, поставивший пугало. — Они схватили меня!

Тогда вооружённые люди остановились и начали совещаться. Они посматривали вверх, пытаясь при свете месяца определить число путников. И тут Фома метнул в них камень. Один из разбойников, взмахнув руками, с воплем сорвался вниз.

Правда, он не убит, а застрял в кустах терновника и повис над пропастью. И тут разбойники обратились в бегство.

— Стойте, люди! — закричал им вслед Йешуа. — Не бойтесь, мы вас не обидим! Вернитесь и вытащите своего товарища!

Он повернулся к Фоме, положил ему руку на плечо и сказал:

— Если этот человек умрёт, я расстанусь с тобой.

— Неужто этот злодей тебе дороже, чем я? — обидчиво спросил Фома.

Йешуа близко посмотрел ему в лицо и не ответил.

Трое разбойников с опаской возвратились. Они связали свои пояса и спустили конец товарищу Йешуа и Фома сошли к ним и помогли его вытащить. Разбойник стонал, с трудом карабкаясь вверх.

Наконец, его вытащили, и он без сил опустился наземь.

— Я не могу стоять, я вывихнул ногу.

Одетый лучше других разбойников, он казался их главарём. Йешуа велел своим спутникам крепко держать его и вправил вывихнутый сустав.

— Хвала тебе, искусник! — с облегчением сказал атаман.

— Мы причинили зло, мы его исправили, — ответил Йешуа. — Однако сиди спокойно, твоей ноге нужен отдых.

— Я раскаиваюсь, что напал на вас! — сказал разбойник, лёжа на спине и с удивлением рассматривая Йешуа. — Вас хранит Бог.

— Вы правоверные? — спросил Йешуа.

— Конечно! Мы молимся трижды в день и блюдём субботу.

— Но вы убиваете своих единоверцев?

Атаман обиделся.

— Глуп тот разбойник, который убивает людей! — вскричал он.

— Мы только пугаем и грабим, — добавил другой.

— А почему вы так обносились?

— Поверишь ли, трудно стало разбойничать. Люди запуганы, ходят толпами. Поселяне дают только хлеб. Три дня мы не ели досыта.

— Возьмите половину наших припасов, — предложил Йешуа. — Нам будет легче идти. Слуги пророка дали нам слишком много.

— Вы идёте от Иоханана Пророка? — с недоверием спросил атаман.

— Позавчера он крестил нас в Иордане.

— Скажите, скоро ли придёт Сын Человеческий?

— Может быть, он уже пришёл, — ответил Иоханан, сын Зеведея, — но только не явил своего лица.

Поражённые разбойники уставились друг на друга.

— Надо идти к Иоханану, пока не поздно, — сказал старый разбойник.

— Когда воцарится Мессия, не будем больше грабить. Ведь не родились же мы разбойниками, словно измаильтяне пустыни.

— И много ли вы стяжали грабежом? — спросил Йешуа.

— У меня осталось пять сиклей серебра, — ответил атаман.

— Разбойники в палатах Кесарии и Тибериады удачливее нас: они грабят средь бела дня и мерят добычу киккарами.

Киккаром назывался восточный талант.

— Ремесло ваше и греховно, и неприбыльно, — сказал Йешуа, с сожалением качая головой. — Ступайте к пророку и покайтесь. А нам пора идти.

— Хотите, мы проведём вас короткими тропами? — спросил атаман.

— Что ж, дай нам провожатых.

— Наум и Толмай! — приказал атаман. — Проводите странников по нашей тропе до границы Переи.

Йешуа оставил трусливым разбойникам половину съестных припасов и ушёл, напутствуемый их благодарностями.

Два провожатых повели наших путников тайной тропой.

Сначала тропа вела круто вверх, и все выбились из сил. Но затем одолели перевал, идти стало легко.

Перед рассветом спугнули стадо диких коз. Далеко в долине видели спящие селения.

В кустах запели птицы, и небо над Аравией начало светлеть.

— Учитель, — сказал Симон, — мы устали. Не пора ли отдохнуть?

— Мы поедem после утренней молитвы, и пойдём снова, и сделаем привал через четыре часа.

Целый час они шли через могучий кедровый лес, наслаждаясь его бодрящим и резким запахом. Перея была богата кедром и дубом.

Когда они вышли из леса, взошло солнце. Остановились лишь для молитвы и завтрака, затем пошли далее.

Впереди над тропой нависала крутая скала. Фома поднял руку.

— Кажется, там кто-то есть, — сказал он.

— Они только что потушили костёр, — ответил Симон Зелот, нюхая воздух.

— Там наши товарищи, — ответил разбойник Наум.

Подойдя к скале, они услышали сверху грозный окрик: внезапно выскочив на край обрыва, три стрелка целились в них из луков.

— Стойте и не шевелитесь! Мы попадаем в зрачок левого глаза!

— В кого вы целитесь, сыны греха? Завопил проводник. — В меня, Наума? Или в этих людей, которые идут от Ревущего в пустыне? Попробуйте только выстрелить, и Бар-Рабба отрежет ваши пустые головы.

При этом имени путники переглянулись. Имя Бар-Раббы гремело от Дамаска до Эдома, о его силе и свирепости рассказывали легенды.

Стрелки, между тем, опустили луки, а рядом с ними появился человек в алом плаще, очень широкий в плечах, и наклонился над обрывом.

— Радуйся, Бар-Рабба! Я Наум, ты узнаёшь меня?

— А, это ты, приятель! Что ты говорил о людях Пророка?

— Это друзья Того, кто купает в Иордане. Они идут к себе в Галилею.

— Друзья Пророка? Подождите, сейчас спущусь!

И он, несмотря на свою толщину, легко сбежал по боковой тропке, делая огромные прыжки и раздирая о терновник свой нарядный плащ. Когда он предстал перед путниками, его широкое и зверское лицо выражало радостное удивление.

— Мир вам, люди пророка! Я зовусь Йешуа Бар-Рабба, разбойник. Подымитесь в мою обитель и будьте моими гостями.

— И тебе мир, Бар-Рабба! Я Йешуа Бар-Иосиф, плотник. Мы разделили бы твой хлеб, но брат мой схвачен в Хоразине с Ионой, и его ждёт смерть. Я хочу подать ему помощь, если он жив, потому грех нам мешкать в пути.

— Святое дело! — покорно сказал атаман. — Не стану вас удерживать. Я даже хотел бы помочь тебе, чтобы исторгнуть твоего брата из темницы, ибо я ненавижу все клетки и узилища.

— Я тоже, — сказал Йешуа. — В этом мы согласны.

— Ведь ты не возьмёшь моих денег?

— Нет, не возьму.

— Мои деньги слишком грязны для тебя, праведный человек?

— *Все деньги — навоз*, — равнодушно ответил Йешуа.

Бар-Рабба с удивлением воззрился на него:

— Как же ты выручишь брата без золота и серебра?

— Господь подскажет.

— Благо тебе, мудрец! Ты хорошо сказал. Я тоже попираю их, ибо у меня их много. Но у тебя...

— У меня их нет, — ответил Йешуа.

— Всё же деньги сильны, очень сильны. Давай испытаем их силу.

— Каким же образом?

— Я пошлю в Город Могил моих *атарим* (лазутчиков) и дам им золота, чтобы ослепить стражу и выкупить Иону вместе с твоим братом. Как зовут твоего брата?

— Иаков, сын Иосифа Плотника.

— Посмотрим, что сильнее: твоя мудрость или моё золото. Эй, Рувим Кривоногий!

— Я здесь, Бар-Рабба! — откликнулся разбойник с лицом проныры и ногами наездника.

— Ты слышал, что здесь было сказано? Пойдёшь в Город Могил и выкупишь из темницы Иону и Иакова.

— С охотою, Бар-Рабба!

— Если удастся, я щедро тебя награжу.

— Выбери себе двух помощников и оденься в такую одежду, в какую захочешь. Черпай из моей казны обеими руками.

Бар-Рабба снова повернулся к Йешуа Плотнику:

— Да, деньги — это навоз. И люди, которые их любят, тоже навоз. И всё же золотой ключ подходит ко всем замкам. Я спасу твоего брата.

— Что ни делаешь доброго или злого, делаешь это себе, — ответил Йешуа.

Он сдержанно простился с Бар-Раббой, и они ушли, Йешуа и его спутники. Все толковали о знаменитом атамане, но Йешуа молчал, глядя под ноги, и горечь видна была на его лице.

— Учитель, разве ты не одобряешь его поступка? — спросил Симон.

— Симон, он хочет выкупить мою родную кровь добычею убийства и ценою другой крови. Вчера мы видели филина, а это барс. Он убивал много людей...

— Но теперь его деньги пойдут на доброе дело...

— Какие его деньги? — с отчаянием сказал Йешуа. — Пойми же, Симон, это будет всё равно, как если бы для спасения Ионы и брата моего Иакова убили других невинных!

— Понимаю, — растерянно сказал Симон. — Но тех ведь он уж давно убил...

— Какая разница? — ответил Йешуа. — Вчера или завтра, всё равно, он убивает таких же детей Авраама. За деньги крови он выкупит моя кровь, а завтра убьёт ещё, чтобы возместить расход казны своей. Горе тому, кто кровью выкупает кровью!

И он добавил через несколько шагов:

— Мне будет стыдно, если он спасёт Иакова.

После этого он умолк опять и пошёл ещё быстрее.

Солнце поднялось уже высоко, когда перед ними открылась узкая теснина, по дну которой бежала небольшая речка.

— Это Явок? — спросил Йешуа у Наума.

— Да, мудрец. Здесь кончается земля Галаадская. За Явоком уже земля тетрарха Филиппа, мы туда не пойдём. Но вы легко найдёте дорогу; вон за той горой есть селение.

— А под горой пастухи со стадом, — добавил Симон Зелот. — Я вижу дымок их костра.

— Благодарю вас, Наум и Толмай. Оставьте грабежи и вернитесь в мирные селения.

— Мы бы рады, но боимся за наши прежние дела. Нас могут узнать.

— Всё же мы подумаем.

И с тем они ушли.

Йешуа и его ученики поели и, подстелив свои полосатые плащи, заснули над Явоком в тени олеандров. Мечтательное небо и весело порхающие сизоворонки охраняли их сон.

Это была удивительная и сказочная земля. Немножко далее к востоку находилось то место, где патриарх Иаков, возвращаясь из Месопотамии, перешёл вброд через Явок и где выдержал ночью таинственную борьбу с Богом, оставшись навеки хромым в память об этом. Он назвал это место Пенуэл — «лицо Бога», сам же был прозван с тех пор Исроэл («боровшийся с Богом»). На том месте, где праотец евреев силою вырвал у Господа благословление, несколько веков назад стоял город Пенуэл.

Но жители его, когда великий Гедеон гнал разбойников пустыни — хищных мадианитян, из страха перед этими опасными соседями предали общее дело евреев и пропустили бедуинов без ущерба. И тогда Гедеон истребил город предателей. Теперь в руинах Пенуэла гнездились совы и филины.

Там был край Аравийской пустыни, откуда возникали неожиданные набеги, из которых бедуины возвращались с богатой добычей — или не возвращались

Теперь граница стояла спокойнее, и силы кочевых племён смирились перед сооружениями кесарей; бедуины предпочитали торговать с евреями, продавая им коней и верблюдов. Однако недавняя обида эмира Хамета снова посеяла тревогу, и тетрарху Галилеи предстояло поплатиться за оскорбления, которые он нанёс своей первой жене, арабской царевне.

Ближе к вечеру Йешуа разбудил учеников. Они перешли через Явок и вступили в тот край, где до завоеваний Моисея жили рефаим (исполины).

Возможно, предания о них были порождены огромными могильниками, дольменами, которые в изобилии находили здесь евреи. Некоторые из камней были базальтовые, а базальт крепче железа: может быть, такую плиту и приняли за железную кровать Ога, царя исполинов, о котором упомянуто в Писании.

Путники оставили справа Маханаим («лагеря») — местность, где царь Давид скрывался от мятежного сына своего Авессалома.

Ночь застала их в горах Голаштиды. Подданные Филиппа, тетрарха итурейского, голаниты были племенем смешанного происхождения, но крепко держались иудейской веры и славились любовью к свободе. Между ними и галилеянами было много общего, а вокруг Галилейского моря они жили как соседи и сородичи.

Путники шли всю ночь и сильно устали. Днём они вошли в бедное селение голанитов и были радушно встречены. Их отвели в маленький постоялый двор, где несколько торговцев не обратили внимания на нищих странников. Недолгий привал восстановил их силы, и они отправились далее.

Жара начала спадать, когда они вступили в Гадаринскую область.

— Учитель у нас кончился хлеб, — сказал Симон. — Осталось несколько маслин. Как быть? Голодные, мы не сможем быстро идти.

— Пойдём в Гадару и купим хлеба.

Впереди показались белые стены Гадары.

Богатый и славный город прежде входил во владения Ирода Великого, но после низложения его сына Архелая был присоединён к провинции Сирия.

Шестеро евреев вошли в цветущую и шумную Гадару.

Весёлый народ, одетый гораздо светлее и легче, чем одеваются евреи, с любопытством разглядывал усталых путников. Женщины с голыми руками, выглядывая из ворот, скалили на них зубы. Всюду сыпалась, как горох, круглая и бойкая эллинская речь. Многие люди разгуливали с непокрытыми головами, что не принято на Востоке.

Суровые пришельцы молча озирались на мраморные колоннады, бани и стройные языческие храмы, за которые Гадару прозвали «сирийскими Афинами». Евреев поражало, что некоторые гадаринцы сидя на скамьях перед дамами и болтая между собой, гладили своих собак. Для евреев и арабов собака была нечистым животным, ибо она находит пропитание на свалках.

Рынок был переполнен. Через Гадару проходил большой торговый путь из Тибериады и Скифополя во внутренние округа Перее и в Дамаск.

Странники с трудом отыскивали еврейскую лавчонку, где скучал одноглазый торговец — еврей смешанной крови. Он заискивал перед ними, ибо сознавал греховность своего обитания в городе язычников; к тому же пришельцы, как чистокровные евреи, были выше его. Они наскребли совсем немного денег, но кривой, не выказав досады, дёшево продал им хлеба и рыбы. Эта рыба была уже «своя» — из Геннисаретского озера.

Они простились с кривым гораздо теплее, чем поздоровались.

— Пойдёмте прочь из Эллады, — сказал Симон Зелот. — я хочу скорее вернуться на еврейскую землю.

Когда они уходили из города, кучка уличных мальчишек увязалась за ними, принялась, их дразнить, хрюкать и визжать по-пороссячи. Прохожие покатывались от хохота. Йешуа и его спутники сохраняли невозмутимость и шли не оборачиваясь. Тогда дети стали бросаться в них голышами.

Андрей, хорошо говоривший на койнэ, крикнул озорникам:

— Отвяжитесь, поросята, не то мы пожалуемся большим свиньям!

Дети расхохотались и отстали, но при словах Андрея группа гадаринцев, которая с быстрой жестикуюляцией спорила о чём-то на перекрёстке, разом обернулась, будто всех одновременно ужалили оса.

Молча рассмотрели греки запylённые лица и бедную одежду странников, их полуразвалившуюся обувь. Конечно, гадаринцы знали, что бывают знатные евреи, которым подобает оказывать почтение; бывают богатые евреи, с которыми полезно иметь дело; но сейчас перед ними были евреи низкого сорта, неписьменные люди или по-гречески *ανεδευτοι*.

Вдруг от группы отделился высокий старый грек в богатой одежде, с уверенной походкой и грозной наружностью. Он бросил несколько слов через плечо остальным и пошёл следом за евреями.

Он шёл один, широкими шагами; прочие греки смотрели ему вслед, оставаясь на месте.

— Уж не хочет ли он нас побить? — спросил юный Иоханан.

— Что ж, мы будем не первые, — с тихим смешком ответил Йешуа.

— Пусть только попробует! — пробормотал Симон Зелот, искоса бросая взгляд на приближающегося грека. Но тут грозный старик догнал их и сказал на искажённом арамейском языке:

— Мир вам, евреи!

— И тебе мир, эллин! — ответил Йешуа.

— Если вы разумные, то вы простите дурно воспитанных детей.

— Разве ты заметил в нас гнев или обиду?

Старик нахмурил брови и помолчал, на ходу сочиняя фразу, потом сказал:

— С позволения прошу, проводить вас до ворот города.

— С нами не будет ничего плохого, — сказал Йешуа, — но мы тебя не гоним, и дорога принадлежит всем идущим.

Старик молча шёл с ними до ворот Гадары. Здесь он остановился и гордо-изящным жестом поднял свою сильную руку:

— Хорошая дорога, евреи!

— Покой твоему дому! — ответили они.

Размышляя о случившемся, они сели под пальмой в одном полёте стрелы от Гадары, утолили голод, попили из ручья и пошли далее.

Взойдя же на одну из высот, они увидели впереди блистающий край родного Галилейского моря.

Собственно, это Геннисаретское озеро, из которого вытекает Иордан. Оно лежит во впадине, окружённое буйной растительностью; длина его 31 километр, а ширина — восемь. В те времена оно было очень богато рыбой. Евреи говорили: «Бог создал семь озёр в земле Ханаанской, но только одно озеро Галилейское избрал для себя самого».

Вид любимого моря умножил силы галилеян; мягкий воздух его освежил их лица. Через час они спустились в Гамалу, где звучала громкая арамейская речь, и дома были еврейские, четверугольные, с плоскими крышами, и голаниты, так похожи на галилеян, хлопотали под сенью своих померанцевых деревьев и

финиковых пальм. Люди деятельно готовились к субботе. Йешуа со спутниками вышел на берег моря.

Но у странников совсем не осталось денег на перевоз, и ученики спросили у Йешуа, что же им делать.

Он подошёл к рыбакам, весело выгружавшим улов, поздравил их и попросил перевезти через озеро:

— Мы прошли долгий путь, нам нужно успеть до субботы в Кану Галилейскую.

— Нет, добрый человек, мы не можем бросить свой промысел, — отвечали рыбаки, — ступайте к перевозчикам.

— Нам нечем платить за перевоз.

— Мы такие же рыбаки, как и вы, — сказал Иоханан, сын Зеведея.

— Мы очень спешим.

— Понимаем, понимаем, — в затруднении бормотали рыбаки.

Народ собирался, сочувственно качал головами. Путникам предложили остаться в Гамале и разделить субботу, но перевезти их никто не берся.

Вдруг все расступились перед красивым молодым человеком с мрачным лицом. Он был одет в рубище, а держался как царевич.

— Мне сказали, что вы идёте от Иоханана, пророка галилейского.

— Да, брат мой, — ответил Йешуа.

— Я вижу среди вас Симона Зелота.

— Да, это я.

— Разве ты не узнаёшь меня?

Симон присмотрелся к молодому человеку и всплеснул руками:

— Господь велик! Это ты...

Но красивый бедняк властным жестом заградил его уста.

— Ступайте за мной, странники! — приказал он.

Он привёл их к пристани перевозчиков. Всюду его появление вызывало почтительную робость, но никто не обращался к нему первым и никто не называл его по имени. Люди смотрели на него и молча ждали.

— Перевозчики! — сказал он. — Дайте мне большую лодку с парусом. Я хочу перевезти этих людей через море.

— *Возьми какую хочешь*, — ответил старший перевозчик.

Молодой галанит выбрал лодку, посадил в неё путников и сам сел за руль. Перевозчики оттолкнули лодку от берега. Рыбаки Иоханан и Андрей поставили парус, и лодка весело заскользила по сверкающей зыби озера, пересекая его в северо-западном направлении.

Измученные путники, кроме Йешуа и Симона, заснули вповалку на дне лодки. Йешуа с наслаждением вдыхал ласковый воздух.

Горизонт отовсюду замыкали горы. Только на юге они расступались, выпуская из озера Иордан. Пеликаны на отмелях ловили рыбу, и тонкая рябь озера медленно золотилась под солнцем.

— Возьми чуть ближе к Городу Могил, — попросил кормчего Йешуа.

Переодетый царевич сильною рукой повернул руль, Симон подтянул парус, и лодка, описывая дугу, приближалась к западному берегу, где почти прямо напротив Гамалы из вод моря вырастала Тибериада, столица Ирода Антипы.

Становились различимы белые стены и фронтоны, а среди них поблёскивало золотое пятно — кровля дворца тетрарха. Лодки кишели перед Тибериадой, виднелись и более крупные суда, а у самой пристани колыхались на якоре две богато украшенных галеры тетрарха. Антипа считался богатым государем и мог себе позволить такую роскошь.

Этот город вырос с удивительной быстротой. Ирод Антипа основал его на третьем году принципата Тиберия в узкой долине у озера, в самой красивой части Галилеи. Это была любимейшая резиденция тетрарха, так как в горах близ Тибериады бил целебный источник. В момент нашего рассказа Тибериада существовала около тринадцати лет.

То был типичный иродианский город — из тех полуязыческих городов с подражательной греческой архитектурой и льстивыми римскими именами, какие Ирод Великий и его преемники строили чуть не по всей земле Израиля. Население Тибериады состояло в основном из язычников или столь

ненадёжных евреев, какими были иудеяне. Подлинных евреев было мало, и на то была особая причина.

Город был построен на месте древнего кладбища, а евреи считали все кладбища местожительством демонов. Ни один иудей не мог вступить в Тибериаду, не подвергаясь обрядовому осквернению. Вследствие множества гробов, которые приходилось удалять при закладке фундаментов, всякий живший в городе еврей делался нечистым; поэтому Ироде Антипе пришлось заставлять свой народ жить в Тибериаде или привлекать засельщиков очень важными привилегиями. Евреи боялись и брезговали приходить в Город Могил, хотя Антипа построил в нём не только языческий амфитеатр, но и великолепную синагогу.

Вот почему Йешуа Назорей никогда не бывал в Тибериаде, хотя не раз приближался к ней.

Сейчас он с мрачным любопытством рассматривал её увенчанные башнями крепостные стены, её мощную цитадель и Золотой Дом тетрарха, Бросавший на Геннисаретское озеро зыбкие тени своих мраморных львов и скульптурной колоннады.

— Нравится тебе Город Могил? — спросил с усмешкою кормчий.

Йешуа посмотрел на него и ответил одним греческим словом:

— Порнэйон (дом блуда).

Кормчий кивнул.

— Недалёк час, — сказал он, — когда я и мои братья dokonчим дело нашего отца.

— Тогда я понял, кто ты! — тихо сказал Йешуа.

— Об этом нельзя говорить, ибо я скрываюсь. Имя моё запрещено.

— Спутники мои спят, и никто нас не услышит. Да будет над тобою благословление Божие, о сын Галилеянина!

— Да, так народ называет моего отца. Но ты ведь знаешь, что он родился в Гамале, и потому его правильнее называть не Галилеянином, а Галанитом.

— Отец твой ревновал о Боге. Ныне мало людей такой веры и такой силы. Но теперь мы будем беречь кровь, о Менахем бар Иуда.

Сын Иуды Галилеянина нахмурился, и они умолкли. То ли обоим вспомнилось, что знаменитый вождь zelотов убивал не только римлян, но и нейтральных евреев; то ли предстали их душевным очам две тысячи человек, убитых римлянами при подавлении галилейского восстания.

Наконец, Йешуа нарушил это затруднённое молчание.

— Здоровы ли твои братья?

— Род наш здравствует, — ответил Менахем, — враги не в силах нас коснуться. Канаим хранит нас.

— Братство духа сильнее уз крови, — пробормотал Симон.

— Воистину так, брат мой! — ответил галанит.

Тибериада уплыла назад. Навстречу стали попадаться галилейские лодки. Йешуа встречал знакомых: они здоровались с ним и звали его к себе разделить субботу. Он благодарил и отказывался, ссылаясь на зов матери.

Кажется, многие знали и Менахема Галанита, но никто не смел обратиться к нему и назвать его по имени.

Наконец, показался Капернаум — правильное Кафар-Нахум (Село Наума). Это был рыбацкий городок со смешанным полуязыческим населением. Йешуа разбудил своих спутников, и они сошли на берег.

Дружески простились с сыном Иуды; он повернул обратно в Гамалу. Несколько гамалитян, спеша домой, сели в лодку к нему и взяли за вёсла.

От Капернаума до Каны было всего пять миль, и по равнине такое расстояние можно одолеть за два часа. Но здесь дорога всё время шла вверх, ибо Капернаум лежал во впадине Галилейского моря, а Кана стояла в горах.

Этот последний отрезок пути, по кремнистой дороге и постоянно вверх, показался им самым тяжёлым.

Кана Галилейская была уже видна, когда юный ессей Иоханан опустился прямо на дорогу.

— Учитель, прости меня, — прохрипел он. — Ноги больше не идут.

— Симон и Андрей, возьмите его на руки! — приказал Йешуа.

Так прошли ещё немного. Юноша держался за своих носильщиков, слёзы стыда блестели на его глазах. Немного

отдышавшись, он попросил отпустить его и снова пошёл сам, оставляя за собой тонкую цепочку крови из разбитых ног.

На закате солнца шестеро путников вошли в Кану, полную запахов праздничной кухни и торопливой, последней беготни и суеты перед обязательной неподвижностью ритуального отдыха. Малочисленные в городе «гоим» (язычники) спокойно наблюдали за этим предсубботним возбуждением: их очередь хлопотать наступала в субботу.

Еврейские сутки исчислялись с наступления ночи. Шестеро пришельцев, поглядывая на небо, из последних сил устремлялись к дому вдовы Марии.

Мария в окружении сыновей, братьев Йешуа, встретила путников на пороге и ввела к себе в дом.

Они успели омыть окровавленные ноги, сменить пропылённую насквозь одежду, и тут на Кану пала ночь, и трубы на крышах возвестили наступление субботы.

Глава V. Город Могил

Невесёлая выдалась суббота в бедном доме вдовы Марии: сын её был в тюрьме, и ему грозила смерть. Но субботний ужин — это священный обычай. Со старшим сыном пришло пятеро гостей — хвала Господу! Хорошо, что Мария напасла побольше съестного, как и должно благочестивой еврейке: ведь на субботу Бог даёт каждому еврею *вторую душу*, и потому субботствующий должен есть за двоих. Впрочем, гости так устали, что думали больше об отдыхе, чем о еде.

Йешуа не проявлял никаких признаков усталости. В его худом теле таился кладезь внутренней силы, и он черпал оттуда столько, сколько было нужно.

Дом вдовы не отличался от бедных домов Галилеи: днём он освещался только дверью, и единственная комната служила и спальней, и поварней, и мастерской. Мебель состояла из циновки и нескольких подушек на полу, двух глиняных кувшинов, прялки и крашеного сундука. Каменные стены никогда не знали украшений, ни внешних, ни внутренних.

Семья и гости возлегли вокруг застиранной скатерти, Йешуа прочёл молитву над бочонком вина и разлил его по щербатым кубкам с грубо изображённой виноградной лозой — эмблемой Израиля. Сам он вина пить не стал. В молчании съели ужин, в котором наилучшими яствами были мёд, молоко и пшеничный хлеб. Несколько тихих голосов похвалили вино и пищу, Симон Кифа учтиво симулировал пресыщение. Возблагодарили Бога и степенно отошли ко сну.

Младшие из братьев, ессей Иоханан и Кифа легли на крыше дома: до первых дождей оставалось лишь несколько дней, но осень стояла тёплая.

Йешуа присел у очага, и к нему пришла его мать.

Плотник Иосиф умер давно, но его пригожая вдова, искусная и бодрая пряжа сама вырастила пятерых сыновей и троих дочерей, заслужив уважение всего городка. Эта маленькая, миловидная женщина была похожа на девушку, ошибкой надевшую платье вдовы, и до конца дней сохранила негибаемую силу характера.

Мать любящая, но требовательная, она набросилась на Йешуа с упрёками:

— Господи, за что ты так наказуешь меня? Весь дом проливает слёзы, а старший сын то запирается в норы людей, отрёкшихся от родства, то бродит по горам, собирая травы и слушая безумные речи изгнанников. Знаешь ли, сын мой, что твой отец, мой добрый Иосиф, не больше трёх раз за всю жизнь покидал родной дом, и то лишь по крайнему несчастью, либо для посещения Храма Господня в самый великий праздник? А ты, мой первенец, ещё до рождения был беспокоен, а теперь живёшь так, словно этот пол жжёт тебе пятки, а кровь отчий гнетёт твою голову! Вечно в дороге, вечно под солнцем, ты приходишь в дом как гость, а не хозяин.

— Разве мы не гости в этом мире? — возразил Йешуа.

Он обращался с матерью нежно и сурово. Большие чёрные глаза Марии удивлённо уставились на него, и он тотчас воспользовался паузой в её укоризнах:

— Скажи мне лучше, когда взяли Иакова и за что?

— Девять дней назад его схватили в Хоразине вместе с Ионой, среди толпы народа. Люди тетрарха убили четырёх человек. А за что? С Ионой всегда было двенадцать ближайших, он их, рассказывают, посулил сделать князьями, когда воцарится. Теперь говорят, что мой Иаков был первым из двенадцати и правой рукой Ионы, но я не верю этому, ведь он так прост!

Йешуа усмехнулся. Он знал, что Иаков, несмотря на свою простоту, обладает нравом неукротимым и сильною верой; а это иногда возвышает простецов над мудрейшими.

— Живы ли они? — спросил он.

— Мы ничего не знаем. Никто из братьев твоих не смеет пойти в Город Могил — они не хотят оскверняться. *Гоим*, приходящие из нечистого города, говорят, что уже готовы распятия. Что нам делать?

— Позови братьев.

Суровый Иосиф, красивый Иуда и расторопный Симон тотчас явились для совета. Суббота препятствовала им делать что-либо. Даже если бы они решились пойти в нечистый город, расстояние до Тибериады намного превышало ту границу пути,

какая ограничивало субботнее передвижение всякого верующего еврея.

— Делать нечего, — сказал Иосиф, — придётся просить о помощи кого-нибудь из зоим.

Галилея обладала пёстрым и смешанным населением: кроме евреев, в ней жило много греков, сирийцев и арабов. В Иерусалиме Верхнюю Галилею издавна называли Галиль Гоим («Галилея язычников»). На берегах Галилейского моря евреи и язычники жили в тесном соседстве. Всё более множились перекрёстные браки, которые скандализировали строгих хранителей веры, если брак не был связан с обращением язычника в правую веру (случалось и такое). Общий для той эпохи билингвизм влиял на быт, нравы и даже самую манеру мыслить. Еврейские юноши в Иерусалиме и Тибериаде вступали в атеистические состязания с греками на залитых солнцем аренах. Умнейшие из евреев тайком читали Платона и Аристотеля, а иные даже Эпикура!

Дошло до того, что некоторые иерусалимские раввины из саддукеев заговаривали о допустимости и даже полезности изучения греческого языка, любили скульптуру и ценили театр.

Кана Галилейская считалась чисто еврейским городом, но и в ней жило несколько языческих семей: они вели себя добродушно и по-соседски. К ним привыкли.

— Сын мой! — сказала Мария. — В прошлом году ты вылечил детей Аполлодора, и он воздал тебе великую благодарность, а денег за лечение ты опять не взял.

— Теперь ты видишь, — насмешливо сказал Йешуа, — что случается нужда в плате безденежной и награде нехлебной. Что ж, братья, попросим Аполлодора?

— Попросим Аполлодора.

— Но до рассвета ещё далеко, — нетерпеливо сказал Ийда, самый красивый и самый младший из братьев, — а время не терпит.

— В субботу не казнят, — ответил Йешуа. — Если брат наш был жив вчера, он будет жив и утром. А гою нет субботы, он может выйти на рассвете.

Светало, когда Иуда сходил за Аполлодором, и грек не заставил себя долго упрашивать. Он уважал вдову Марию и

сердечно любил Йешуа Назорея. Поговорив с ним, умный гой всё понял. Он оседлал крепкого мула, и взял с собой молодого, проворного раба.

В субботний полдень они прибыли к вратам Тибериады.

Первое, что они увидели, приближаясь к городу, было высокое распятие — деревянный столб с перекладиной, вроде греческой буквы «тау». На столбе висел распятый; рядом сидели или прогуливались воины охраны. Все проходящие вратами останавливались поглядеть, а иные — посмеяться.

Аполлodor приблизился к распятию. Дощечка с надписями на арамейском и греческом языках, укрепленная над головой казнимого, возвещала, что это крестуется Иона, который называл себя истинным царём Израиля.

Самозванец был распят накануне, но ещё дышал, ибо был не пригвождён, а привязан: это затягивало смерть, делая её мучительнее. Мухи и оводы облепили распятого с головы до ног. С тяжёлым чувством Аполлodor позвал:

— Иона, Иона!

Крестуемый чуть разлепил свои кровавые глаза. Он уже не мог говорить, хотя ещё дышал. Аполлodor вошёл в Тибериаду.

Город Могил жил обычной жизнью. Евреи праздновали субботу, но остальные жители (их было большинство) продолжали торговлю и ремёсла, либо прогуливались, наслаждаясь золотыми денёчками.

Тестя своего Аполлodor отыскал на его товарном складе. Старый Клеобул был *мегалэмпорос* (купец-оптовик). Его караваны ходили в Дамаск и Акку, он имел дело с двором тетрарха и был в курсе всех городских и политических новостей. Обняв зятя, он повёл его в свой богатый и модный дом.

Они пообедали, а потом Клеобул отослал домочадцев и остался наедине с зятем. Тот изложил ему цели своего приезда. Выслушав Аполлодора, старый купец нахмурился:

— Ты напрасно вмешаешься в дела евреев, зятёк! Они этого не любят, а нам их раздражать ни к чему.

— Это мои лучшие соседи, батюшка. Прошлым летом старший сын Марии вылечил от лихорадки моих детей. Он может быть полезен и тебе: он умеет лечить подагру, хирагру и костоломный недуг.

— Помню, помню, ты рассказывал. Ты говорил, что он самый знающий ботаниат (травник) во всей Галилее.

— Не только ботаниат: если хоть наполовину верить молве, то он и самый умелый экзорцист (бесоизгнатель).

— Ах, так он и демонов заклинает? То-то мудрец и чародей по их понятиям! А всё же ради спасения родного брата не посмел нарушить этот глупый праздник безделья.

— Разве ты не знаешь евреев, батюшка? Но тут ему препятствует и другая загвоздка: Тибериада построена на месте могил, они зовут её Некрополем, а Йешуа — аскет, посвятивший себя единственному богу евреев. Согласно правилам аскетов, он не может входить в дом смерти.

— Ну что ж, — задумчиво сказал Клеобул, — не хотелось бы вмешиваться в это скользкое дело, да и люди плохие: нищие завистники, мечтавшие разделить чужие богатства. Но ради тебя, Олимпиады и детишек я, так и быть, рискну разузнать — можно ли вызвать этого проходимца. К вечеру я что-нибудь разузнаю. Ступай, прогуляйся по лавкам: сегодня не слишком жарко.

Аполлodor вышел в город. Шуму и суеты он заметил меньше, чем обычно. Тибериадские евреи, и без того считавшие себя осквернёнными, старались держаться всех заповедей и правил, дабы не прибавлять к своему главному греху, проживанию в Городе Могил, ещё и случайных прегрешений. «Не делай никакого дела в субботний день», заповедал Моисей Боговидец. В «недельный» день грешно было даже ходить по улицам. Евреи сидели в своих домах и вкушали праздничную трапезу: богатого обслуживали его рабы-язычники, зажиточного — специально подяжённый за добрую плату «шаббат-гой» («субботний язычник»), а бедняк ел вчерашнее. Никто не смел в субботу готовить пищу, носить воду или растапливать свой очаг.

Греки и сирийцы занимались обычными делами. Аполлodor зашёл в цирюльню, велел подстричь по моде волосы и надушить бороду, а затем направился в сторону Рынка. Он уже заметил на перекрёстке толстую, ярко раскрашенную мавлистрию (приманщицу) и остановился, соображая, сколько денег он может потратить на это развлечение, но тут красивый паланкин с позолотой, несомый четырьмя каппадокийцами,

остановился среди улицы, и женский голос из-за лёгкой занавески паланкина властно назвал грека по имени.

Он робко и почтительно приблизился, дивясь, какая знатная дама может знать его в Тибериаде.

— Ведь ты Аполлодор, торговец из Каны?

— Да, благородная госпожа.

Невидимая дама говорила на койнэ с арамейским акцентом, и он понял, что это какая-то знатная еврейка.

— Как поживает твоя соседка, вдова Мария с детьми?

— У них неладно, госпожа, и того ради я в столице.

— Что случилось? — тревожно спросил голос.

— Госпожа, я боюсь говорить об этом на улицах.

— Тогда ступай за мной! — и она хлопнула в ладоши.

Каппадокийцы снялись с места; Аполлодор широкими шагами пошёл за паланкином, развлечённый неожиданным приключением.

Путь лежал в лучшую часть города, расположенную возле «Золотого Дома» и застроенную особняками знати. Улицы оказались гладко вымощенными, вокруг поднялись коринфские колонны с кудрявыми акантовыми капителями. Из какого-то сада послышался звон кифары, а затем крепкий, хорошо поставленный голос запел «Бой Ахилла с Гектором» — в самой изысканной александрийской манере. Живое воображение Аполлодора тотчас нарисовало ему картину избранного круга ценителей, внимающих бессмертной эпосе. Какие люди здесь живут!

И он ещё более оробел, когда паланкин остановился перед большим домом полуеврейского, полугреческого типа. Привратник бросился к паланкину и помог выйти госпоже, высокой и хорошо одетой женщине лет двадцати семи. Она кивнула Аполлодору, и он вошёл за ней в дом.

В одной из дальних комнат она уселась и отослала своих рабынь.

Сквозь тонкое покрывало Аполлодор видел её чёрные, сросшиеся брови и сверкающие глаза. Губы её были полные и алые, как маков цвета. Но гордая суровость всего её облика налагала узду на тайные волнения Аполлодора, вполне естественные вследствие приглашения в дом и беседы наедине с такой красавицей.

— Ты меня не помнишь, а я тебя знаю, — сказала она. — Я Ревекка, жена Хузы.

— Самого Хузы Домоправителя?

— Да, мой муж — домоправитель тетрарха, и мы в доме Хузы.

Тогда Аполлодор вспомнил. Он видел её два года назад в Кане. Единственный сын Хузы в четыре года не умел говорить, еле ходил и чах день ото дня. Лечение грека *архиатроса* (главного лекаря двора) только вредило ему. В отчаянии Ревекка бросила учёных врачей и обратилась к деревенскому травнику, о котором тогда впервые заговорили в Галилее.

Йешуа согласился помочь, но с одним условием: в Тибериаду он не пойдёт.

Ревекка сняла загородную виллу между Тибериадой и Каной. Йешуа поил её сына козьим молоком, водил с собой по горам и купал в горячем источнике. Через месяц мальчик бегал и разговаривал; он почернел, как подпасок, но зато очень окреп. К Йешуа Назорею он так привязался, что чаще жил в Кане, чем на вилле матери.

От всякой платы Йешуа отказался. Хуза, узнав об этом, пожал плечами:

— Иудей любит деньги, галилеянин — честь. Пошли подарок его матери.

И после этого Хуза с чистой совестью забыл об Йешуа, ибо у первого чиновника Тибериадского двора были дела поважнее.

Но Ревекка не забыла и постоянно посылала в Кану Галилейскую дары: хороших тканей на платья Марии и её дочерям, вина, фруктов, свежей рыбы... Йешуа она присылала короткие, почтительные письма, и порой Йешуа, воротясь из своих скитаний, даже читал их.

— Что с ними стряслось, Аполлодор? — в волнении спросила Ревекка.

— Один из сыновей Марии в темнице, госпожа.

— Кто, кто? Говори же!

— Иаков, госпожа.

Тогда он перевела дух и уселась поудобнее.

— Расскажи мне обо всём в подробностях! — велела она.

Аполлодор, получивший весьма недурное для купца воспитание, принялся излагать плавно и приятно, то поднимая свои красивые глаза, то покачивая головой. Он упивался её вниманием, биением её ресниц, дыханием её прекрасной груди, и рассказ его струился, как мелодичный ручеек. И тут она вдруг откинула покрывало, и он на миг заглянул в её глаза.

Вместо нежного восхищения, которое Аполлодор привык исторгать из женщин своим голосом, он прочёл в этих глазах нечто вроде тайного презрения:

— Что же ты умолк?

— Боюсь, что наскучил тебе, госпожа.

— Нет, — равнодушно сказала она, — ты медоязычен и рассказываешь красно.

Она употребила лестный греческий эпитет: «мелиглоттос», т.е. медоязычный, медоречивый. Но Аполлодор был не глуп и почувствовал её иронию: да, он рассказывает красно о мятежах и крестных муках, но красивый рассказ тут неуместен, атопичен; равнодушие рассказчика к предмету речи уличает его в том, что цель рассказа — он сам.

— Продолжай, Аполлодор!

Он кратко закончил рассказ, и еврейка, поднявшись на ноги, в задумчивости приложила руку ко лбу. В этот миг она сделалась так хороша, что у грека сжалось сердце, и он невольно вдруг представил её всю нагую, в позе мраморной львицы из тех, которые возлежат на воротах дворцов. Но тут же по странной ассоциации ему привиделся он сам — со связанными руками и на коленях, под сенью широкого, до блеска заточенного меча.

— Передай Марии, что сын её не умрёт, — сказала Ревекка.
— Ради...

Он прервала себя и прислушалась: по дому разносились тяжёлые шаги. Аполлодор чуточку побледнел.

— Где ты остановился? — быстро спросила она.

— У купца Клеобула, он...

В соседней комнате мужской голос отчитывал слуг. Ревекка указала Аполлодору другой выход:

— Пройдёшь поварней, — шепнула она. — Скажешься субботним гоем. Потом ждите вестей.

Он поклонился и выскользнул из комнаты за секунду до того, как в неё вступил сам Хуза, домоправитель тетрарха галилейского.

— Госпожа Ревекка? Как же, знаю, — говорил вечером Клеобул, потчует зятя хиосским вином. — Известна своим умом, одарена всеми музами и ведёт достойный образ жизни. Такая и в Афинах почиталась бы весьма приличной женщиной, а в Риме и вовсе вывелись теперь честные жёны. Говорят, Хуза слушается её во всех делах. В её дом я найду дорогу, понесу какой-нибудь редкий товар. Госпожа Ревекка — сильная союзница, и я теперь почти не сомневаюсь, что Сын Плотника будет спасён. Однако не слишком ли тебе везёт на женщин, зятёк?

Аполлодор только выразительно вздохнул вместо ответа, и умный старик понял этот вздох.

— То-то, зятёк! Облизнись и скажи, что виноград ещё зелен. Ты сделал своё дело — остальное тебя не касается. Завтра же ступай домой.

Наутро Аполлодор покинул Тибериаду и всю дорогу раздумывал, какие странные чувства волнуют жену Хузы и побуждают её так рисковать.

Он поднялся в Кану и, не заезжая домой, проехал к дому Марии. Спрыгнув с мула и бросив повод рабу, он вошёл в дом, весь в пыли. Мария и сыновья её сбежались к Аполлодору.

— Иона висит на кресте у врат Тибериады. Он умер этою ночью, и сейчас его, наверное, снимают.

— А брат наш Иаков? — в страхе спросили Симон и Иуда.

— Иаков и ещё семь друзей Ионы мелют зерно на царской мельнице.

Мария совершенно нелогично заплакала, вообразив себе Иакова в рабском наморднике, вращающего жернова; в то же время она радовалась, что он жив.

— Раб моего тестя этою ночью видел Иакова, — сказал Аполлодор.

— Как он выглядит? — спросила Мария.

— Он худ, но крепок. Раб успел ему шепнуть, что помощь близка.

Все с надеждой посмотрели на грека.

— Да, это не пустые обещания, — сказал он и приосанился. — Мне удалось кое-что сделать. Госпожа Ревекка велела передать вдове Марии, что сын её Иаков не умрёт. Есть у меня и ещё кое-какие соображения, из них я заключаю, что нужно найти укромное убежище для Иакова.

— У нас есть убежище, — сказал Андрей, ученик Йешуа.

— Благо тебе, Аполлотор, — сказал Йешуа. — Ты помог нам и сделал большое добро, и да будет благословение Божие на тебе и на детях твоих.

Аполлотор взглянул ему в глаза и покраснел. Ему показалось, что этот еврей видит его насквозь.

— Заслуги мои невелики, Йесуа, — сказал он, произнося на греческий лад это трудное имя.

Но все дружно возблагодарили его.

Через двое суток, ночью, загорелось в тибериадской тюрьме. Пожар удалось погасить, но в суматохе трое узников разорвали свои цепи, оглушили надзирателя и бежали.

Эвбул Идумеянин, начальник тибериадской стражи, самолично занялся расследованием.

Он заметил, что звенья цепей, разорванных беглецами, были заранее надпилены. Он приказал блокировать все выходы из города. Но розыск упёрся в тупик, следы оборвались: кто-то помог беглецам, и чуяло сердце Эвбула, что скорее всего их уже нет в Тибериаде.

А люди-то, люди-то нужные, первые друзья Ионы! Лжемессия посулил их сделать князьями после взятия Иерусалима. Одного из них, Иакова, ранее видели в обществе фарисеев, и он подлежал до казни строжайшему допросу.

Эвбул сидел дома и предавался мрачным размышлениям. Он опасался недовольства Ирода Антипы и гнева Иродиады. Вино его не радовало, любимого пса он прибил, а самую балованную наложницу прогнал с глаз долой.

В столь неподходящий момент ему доложили, что некий иерусалимский купец принёс ему редкий товар — драгоценные камни и украшения.

Эвбулу, страстному коллекционеру, захотелось утешиться в служебных неудачах, и он велел привести купца. Тотчас вошёл

забавный коротышка с пронырливыми глазками, в пёстрой и сборной одежде.

Когда он, переваливаясь на кривых ножках, с низким поклоном подошёл у Эвбулу, начальник стражи невольно расхохотался: впервые в жизни он видит купца с такой карикатурной внешностью.

— С чем ты пришёл, лиропод?

«Лироногий» (т.е. человек с ногами в форме лиры) вытащил из-за пазухи небольшой мешочек, развязал его и осторожно выложил на стол несколько блестящих вещиц. И смех замер на губах Эвбула.

Он склонился над камнями, думая о той простой истине, что нельзя доверять внешности: у подобного плута могут быть под одеждой только блохи, а вот поди ж ты!

Подобных камней Эвбул давно не видел.

Вот камень цвета фиалки — чистый аметист. Вот чудесно-зелёный смарагд: арабы очень ценят его, как талисман от падучей болезни, они называют его «царамут». Вот желтоватый лигирий. Он перебирал их и переворачивал; глядел на свет и заставлял играть. Силился скрыть свои чувства и постепенно сумел успокоиться.

— Антракс... Яшма... Розовый жемчуг... — бормотал он.
— А это что?

Это был лечебный амулет, вырезанный из сардоникса с удивительным искусством: рисунок изображал летящего Персея с головой Медузы в одной руке и мечом в другой. Эвбул перевернул камень и прочёл на тыльной стороне греческую надпись: «Беги, подагра, Персей тебя преследует».

Он оттопырил нижнюю губу и поднял бровь.

— Пожалуй, это мне стоит купить.

— Благородный Эвбул, сказал купец свирельным голосом.
— О тебе далеко идёт молва. Что ты знаешь толк в изысканных вещах. Подскажи мне, вот эта вещица — настоящая она или поддельная?

И купец выложил перед идумеянином гемму, на которой тот сразу узнал профили Марка Антония и Клеопатры Египетской, последней царицы из дома Лагидов.

У Эвбула перехватило дух, и волосатая рука его, привыкшая терзать и резать людей, невольно вздрогнула, с хищной нежностью беря гемму.

Он видел, что работа эта старая, не менее девяноста лет. Выполнение потрясающее, цвета камня очень красивы. Как она попала в эти края? Он вспомнил, что когда-то Клеопатра гостила в Иерусалиме и даже устроила небольшую интригу с отравлением, покушалась на жизнь Ирода Великого; в свою очередь Ирод ставил на обсуждение тайного совета вопрос о её ликвидации. Ему отсоветовали, ибо Антоний, околдованный египтянкой, мог по возвращении из парфянского похода не оценить такой услуги. Об этом Эвбул слышал от самого Ирода Антипы.

Да, это была гемма Клеопатры. Поэтому Эвбул слегка щёлкнул гемму ногтем и ответил презрительно:

— Обман! Хоть и ловкий, но обман.

— Жаль, очень жаль! — сказал Лиропод.

— Александрийские мастера научились подделывать что угодно.

Купец уныло сунул гемму в мешочек.

— А я хотел продать её по сходной цене.

— погоди, — великодушно сказал Эвбул. — Ты всё же оставь её мне на денёк. Я посмотрю её на досуге и сравню со своими египетскими геммами.

Купец заколебался.

— Благородный Эвбул, — шепнул он, — я оставлю её как выкуп за узника.

Он сказал по-гречески: «антилютрон», то есть избава, выкуп.

— Ах, вот как! Кто же тебе нужен?

— Иаков, сын Иосифа, плотник из Каны Галилейской.

Эвбул перекосялся и заскрипел зубами. Надо же, как его преследует эта беда! Он схватил купчишку за ворот, и тот сразу съёжился и втянул голову в плечи.

Но тут забавная мысль мелькнула в голове Эвбула, и он не стал бить купчишку.

— Да знаешь ли, кого ты у меня просишь? — загремел он.

— Иаков из Каны — эпифанатий (смертник), один из опасных

мятежников. Мой долг — бросить тебя в темницу, к тому же Иакову, да ещё выпытать, кем ты подослан!

— А что скажут тогда другие купцы? — пискнул Лиропод.
— Кто понесёт тебе ониксы и смарагды?

— Ты прав, купец, — признал Эвбул, отпуская его ворот.

— Клянусь бородой, эта гемма стоит сотни таких, как Иаков!

— Если она не фальшивая, — безглаголиво пробормотал Эвбул.

Купец снова вынул гемму, и Эвбул против воли залюбовался ею.

— Нет, Эвбул, она подлинная! — шепнул Лиропод, искоса наблюдая за начальником стражи. — Я это точно знаю.

Да, он знает. Эвбул готов был просто отдать его своим псам-костоломам, чтобы свернули ему шею и скормили его рыбкам, но в Тибериаде и так беспокойно, опять же купца видели, когда он входил сюда, и вообще под боком у тетрарха неудобно... Надо ему заплатить хоть чем-то.

Идумеянин изобразил на лице драматическую борьбу снисхождения с требованиями долга:

— Почему ты просишь за него?

— Это брат моей жены, о благородный Эвбул.

— Ладно! — решился, наконец, начальник стражи. — Давай гемму. Я потихоньку выпущу Иакова из города.

— А если, о славный, ты почему-либо не сможешь сделать этого?

Эвбул поднялся с кресла и выпрямился во весь свой огромный рост. Смерив уничтожающим взглядом купца, он воздел свою могучую руку, и слова его прозвучали внушительно:

— Клянусь Богом: ранее, чем ты покинешь Тибериаду, Иаков из Каны будет уже на свободе!

Глава VI. В Золотом Доме

Южный ветер принёс «ранний дождь», и в ноябре начала устанавливаться влажная иудейская зима. В один из первых дней её Ирод Антипа, тетрарх Галилеи и Перее, в своём тибериадском дворце, именуемом «Золотой Дом», принимал ближайших советников.

В небольшом зале, украшенном позолотой, под мраморным бюстом Тиберия Кесаря, тетрарх сидел в кресле из ароматического сандалового дерева, отдалённо напоминавшем царский трон. Его круглое, jovialное лицо было мрачно. Вообще-то лицо Антипы могло показаться приятным, если бы его не портила постоянная мимическая гримаса. Веки его глаз казались опухшими. Он был одет в тёмную тогу с фиолетовой каймой.

Перед ним стоял секретарь с записными табличками, а позади тетрарха, в длинной пурпуровой симарре, восседала Иродиада. Тонкое льняное покрывало осеняло её властное лицо. Она всё ещё казалась красивой, а кроме того искусно пользовалась косметикой, как и её легендарная предшественница Иезавель Сидонянка. Глухонемая нубийская рабыня, чёрная, как безлунная ночь, стояла рядом с царицей и равномерно обведала её страусовым опахалом, разгоняя по залу благовоние мирры и нарда.

Разговор тетрарха с его советниками не имел церемониального характера, что делало допустимым участие Иродиады.

Перед ними сидели начальник городской стражи Эвбул Идумеянин, архистратиг Закхей Харикл, домоправитель Хуза, тибериадский архисинагог Мелеагр, сын Исаака, и ещё два-три вельможи. Ирод Антипа затребовал экстренный отчёт о положении государства, ибо до него дошли неприятные известия.

Средь бела дня в Перее был найден труп римлянина. Это было событием чрезвычайным, возмутительным; хотя все знали, что иногда такое случается, хорошим тоном было изображать изумление, ужас и негодование.

— Труп опознан? — спросил тетрарх, борясь с изжогой.

— Да, царь, — пасмурно ответил Закхей Харикл.

Неформально титулование «царём» (*басилевсом*) было весьма распространено на эллинизированном Востоке: разумеется, разговор шёл на греческом языке.

— Это, Максим Анций, декурион, — продолжал архистратиг, — он был направлен высокочтимым префектом Понтием на патрулирование за Иордан. С ним было несколько всадников.

— Где же эти всадники? — спросил тетрарх.

— Видимо, они отстали от декуриона и каким-то образом упустили его из вида. От префекта Понтия уже поступил запрос.

— Как совершилось это злодеяние?

Голос тетрарха звучал вяло, взор его глаз с подпухшими веками бродил по стенам, пока не остановился на статуе Аполлона Савроктона. Ирод её очень любил. Греки, гостившие у него, божились, что эту копию нипочём не отличить от оригинала самого Праксителя.

Закхей Харикл многословно и уныло докладывал о том, что декурион был сначала ранен стрелой из лука, а затем поражён тремя ударами кинжала.

— Кто это сделал?

— Виновные будут непременно найдены, о повелитель!

И в этот момент заговорила Иродиада:

— Виновные никогда не будут найдены. Нужно уморить следствие по этому делу.

— Но как отнесутся к этому римляне, о царица? — спросил Закхей Харикл.

— А никак не отнесутся, — небрежно ответила Иродиада. — Зачем им знать об этом? Разве в наших темницах нет свежих разбойников? Вот и прекрасно! Отдайте римлянам трёх или четырёх разбойников в виде убийц декуриона, и пусть наш друг префект Понтий делает с ними всё, что ему заблагорассудится.

— Быть так! — решил тетрарх и кивнул секретарю. — Запиши. И ещё составь от моего имени письмо с соболезнованиями префекту Понтию. Однако мне хотелось бы знать, кто мог сделать это?

— Зелоты, о царь! — ответил архистратиг Закхей. — Это их манера убивать. Видимо, какая-то шайка сикариев из их числа переправилась через Иордан: ведь в нашем краю их больше нет...

Показались улыбки недоверия.

— Я полагаю, это шайка Бар-Раббы или Анастасия, — упорно продолжил архистратиг, слегка повышая голос и сердито косясь на других вельмож.

— Кто таковы? — спросил тетрарх.

— Бар-Рабба — это известный разбойник.

— Ах да, я слышал.

— Анастасий — это старый злодей, родственник прегнусного Иуды из Гамалы. Лет двадцать назад он был даже распят, но потом воскрес, как говорят «люди земли»: поэтому он и прозван Анастасием.

— Что за вздор! — проворчал тетрарх, и лицо его приняло нездоровый оттенок.

Он стыдился своего суеверия, но ничего не мог поделать с собой. Всюду ему мерещились призраки мертвецов, на чьих разорённых могилах стояла Тибериада, и хитрые еврейские шедим (демоны). Он допускал, что враги пользуются помощью шедим против него. Не потому ли и Вителий, императорский легат в Сирии, недолюбливает Антипу? Хорошо ещё, что к тетрарху благоволит сам Тиберий Кесарь.

С тоскою вспомнил тетрарх о двух девочках, негласно приобретённых Хузой Домоправителем и спрятанных в загородной резиденции от ревнивых очей Иродиады. Хуза клялся и руку себе целовал, что у них — глаза газелей и ни одного волоска на теле. Скоро ли удастся оторваться от докучных государственных дел и выехать хотя бы денька на три из столицы? Антипа встряхнул головой.

— Что там болтают насчёт какого-то побега? — спросил он.

— Три каторжника, о повелитель, используя пожар на мельнице, разбили цепи и скрылись, — неохотно доложил Эвбул Идумеянин.

— Это дело рук фарисеев, царь! — вмешался архисинагог Мелеагр.

Друг тетрарха, он был типичным саддукеем, как все ироды и их сторонники; он бывал в Афинах и в Риме, знал греческий язык в совершенстве и даже говорил немного по-латыни.

— Почему ты так думаешь, Мелеагр?

— Потому что бежали люди Ионы, а он был связан с фарисеями.

Тетрарх признал это вполне возможным. Он и сам ненавидел фарисеев, этих заклятых врагов царствующего дома. Так значит, мятеж Ионы ещё не угас полностью. Этот самозванец, недавно распятый за провозглашение себя «сыном Давида», что было равносильно бунту против Идумейской династии, явно опирался на скрытую поддержку влиятельных политических сил.

— И это ещё не всё, о царь! — продолжал Мелеагр. — Труп Ионы был выдан родственникам, они погребли его в своей родовой пещере, а пещеру запечатали. Вчера его тело было выкрадено.

Новость вызвала всеобщее удивление. Мелеагр помолчал, наслаждаясь произведённым эффектом, и вскользь добавил:

— Сегодня в синагоге и на рынке уже говорили, что Иона воскрес.

— Не слишком ли много воскресших? — язвительно заметила Иродиада.

— Брать всех распространителей слуха! — приказал Ирод Антипа, медленно багровея. — Бичевать болтунов! Сечь их скорпионами!

Его тройной загринок налился кровью, и он с трудом отдышался. Эвбул сидел мрачнее тучи и старался не глядеть на Мелеагра.

А далее наступил черёд самых важных и самых грозных известий.

Лжепророк Иоханан из Хеброна, который из безделия или со зловредным умыслом позирует перед чернью в одеянии пророка Илии, резко усилил свою антиправительственную проповедь за Иорданом. В своих речах он дерзко намекает на высочайших особ. При нём не менее трёх тысяч купальщиков; они вооружены, и стан их бдительно охраняется. Лазутчики боятся проникать туда: уже имели место случаи исчезновения верных людей.

— Говорят, о царь, что Иоханан с первого взгляда распознаёт лазутчиков и тотчас предаёт их ярости черни.

— И ещё, — вкрадчиво добавил Мелеагр, — десять дней назад он говорил в своей безумной проповеди о древнем царе Ахаве и его супруге...

Всем вдруг сделалось не по себе. Ирод Антипа слышал почти над самым своим ухом частое и чуть хриплое дыхание жены.

— Что именно он сказал? — быстро спросил тетрарх.

— Он предрёк, что Иезавель будет сама молотить зерно в ступе, а муж её Ахав... просить подаяние на распутьях чужих дорог.

Все окаменели.

Ирод Антипа откинулся на спинку кресла, и в висках его застучала злая идумейская кровь.

— Он смеётся над нами! — не сдержавшись, проскрежетала Иродиада.

Тетрарх молчал, стиснув зубы и глядя прямо перед собой. Что там скрывать: он всегда боялся именно этого. Его старший брат Архелай доживает век в Галлии... в ссылке... Правда, подаяния просить ему не надо, какие-то средства у него остались. Но какая разница? Он был царём, этнархом, а теперь он никто — нищий изгнанник в чужой земле, где реки полгода текут, а полгода стоят, покрытые льдом, словно горы Армении.

— Откуда всё это известно? — спросил тетрарх.

Вместо Мелеагра ответил Эвбул:

— Одному из моих лазутчиков всё же удалось побывать в стане бунтовщиков. Он слушал лжепророка, и купался в Иордане, и получил благословение Иоханана, после чего благополучно вернулся в столицу. Он доставил нам ценные сведения об окружении Иоханана.

— Что за люди эти «купальщики»?

— О царь, это в большинстве своём «люди земли», галилейские поселяне, но есть иудеи и даже несколько испорченных юношей из приличных семей Иерусалима. Ну, а прочее, царь, — это всякое отребье: арабы из пустыни, дезертиры из войск обоих царствующих тетрархов и даже несколько разбойников и сикариев. Там был замечен и Анастасий Зелот.

— Вот как! — сказал Ирод Антипа. — А не был ли в стане Иоханана некий Менахем бар Иуда?

— Об этом согладатаю не ведомо ничего, о царь.

— А парфянских агентов нет ли в окружении лжепророка? — спросила Иродиада.

— Нет, царица. Впрочем, если бы и были, они не откроют лица своего.

Последний вопрос царицы всех заставил задуматься.

— Да, вспомнил ещё! — воскликнул Эвбул. — Среди «купальщиков» появились три-четыре ессея, в их числе один врачеватель родом из Галилеи.

— Ессей? Врачеватель? — с недоумением переспросил тетрарх.

— Да, царь. В сборищах черни болтают, будто некий врачеватель из Галилеи, которого видели рядом с Иохананом, читает судьбы, изгоняет бесов и *воскрешает мёртвых*.

— Опять воскрешения! — злобно засмеялась Иродиада.

Хуза Домоправитель сделал странный жест, будто хотел взяться руками за голову, но раздумал. Тетрарх посмотрел на него строго и вопросительно.

— Ты имеешь что-то сообщить, Хуза?

— Нет, царь, — ответил Хуза.

Мелеагр, кивая и усмехаясь, поддержал Иродиаду:

— Всё это глупые суеверия нашего простонародья. Когда люди умирают, то обычно это бывает *очень надолго*. Даже великому Орфею не удалось вывести свою Эвридику из царства Аида.

Почему-то возникла пауза. Мелеагр, как и все саддукеи, не верил в бессмертие души, а в воскресение мёртвых — тем паче. Но Ирод Антипа не был так уверен в этом вопросе. Он не слишком одобрительно посмотрел на своего друга, гладкого эллинизированного еврея со светскими манерами. Всё же архисинагог не должен быть эпикурейцем...

— Мелеагр, — спросил он, — а как звали того убитого солдата, который побывал в царстве Аида, а затем вернулся к живым и всё им поведал? Об этом, помнится, написано у Платона.

— Оставь это философам и книжникам, — нетерпеливо вмешалась Иродиада. — Врачеватель — это лишь обычная метафора *тех* людей. У них есть выражение: «врачевать Вавилон», что значит — *исправлять грешников*. Может быть, он совсем и не врачеватель, а какой-то кузнец или башмачник.

Вельможи претворились, что не заметили того злобного презрения, с которым надменная идумеянка говорила о «них», о

«тех людях», т.е. по сути дела о всех евреях. С самим же её мнением согласились.

— Терапевтами называют и отшельников Мёртвого моря, — заметил Эвбул.

— Да, ведь ты сказал уже, что это заклинатель бесов — эссей.

— Я думал, что эссеи — люди тихие, — с сомнением сказал тетрарх.

— Да, их братство чем-то похоже на Союз Пифагорейцев, — заявила Иродиада, — и они, по крайней мере, верят в парок.

Слыша эту галиматью, подхваченную Иродиадой от греков, присутствующие чуть заметно покачивали головами. Никто не сказал ни слова; Иродиада поняла, что сморозила глупость.

Она наклонилась к уху мужа и что-то шепнула.

— Благодарю всех, — объявил тетрарх. — Эвбул, останься.

Советники с поклоном удалились. Эвбул, весьма не спокойный, приблизился к царственной чете.

— Эвбул, — сказала Иродиада, — нельзя более терпеть дерзости Иоханана.

— Воистину, повелительница, и у самого снисходительного иссякло бы терпение! Если дозволено мне будет сказать...

— Говори, кивнул тетрарх.

— Пора схватить его

— Тогда поднимется вся Галилея. Год был плохой. Народ ворчит.

— Но, супруг мой, послушай... — начала Иродиада.

— Пока ещё не время! — отрезал тетрарх.

Иродиада знала, что он упрям, и с бешенством подчинилась:

— Ну, хорошо с этим мы подождём. Эвбул, есть у тебя искусные лазутчики?

— У меня их много, царица.

— Нет, я говорю не об этих дураках и трусах, которых ты набираешь на рынках. Им всем красная цена — обол, а нам нужны особые лазутчики, чтобы они были хитрее и искуснее, чем те, которых Моисей посылал в Ханаан высматривать наготу этой земли. Я хочу от тебя точного ответа.

Эвбул призадумался.

— Да, повелительница, — сказал он наконец, — у меня есть один человек, который стоит десяти обычных соглядатаев. Он ловок и увёртлив, как угорь, умеет принимать любое обличье, и во рту его три языка.

— Нам нужно иметь своё око в лагере Иоханана.

— Мой соглядатай был там и принял баптисмос. Я уже говорил о нём.

— Очень хорошо. Пусть снова отправится туда, войдёт в доверие к Лжепророку, вызнает его тайны и имена его друзей. В подходящее время мы всё же возьмём Иоханана.

— И ещё, Эвбул, — вмешался тетрарх, — вели соглядатаю вызнать и том терапевте, который якобы воскрешает мёртвых, и сблизиться с ним.

Иродиада взглянула на мужа одобрительно. Тетрарх порозовел и выпрямил плечи.

— Слушаюсь, повелитель! — ответил Эвбул.

— Он любит деньги, твой лазутчик? — спросила Иродиада.

— Он ещё молод и любит удовольствия, а значит и деньги.

— Галилеянин? — спросил тетрарх.

— Иудей, из колена Иссахара.

— Земля колена Иссахара — у меня в Галилее.

— Воистину так, о царь! Но ведь сыны колен Израилевых давно смешались и живут не на тех землях, которые были им предназначены Моисеем.

Ирод Антипа кивнул: это была правда.

— Дай ему денег, Эвбул, — приказал Иродиада, — и посули вдвое больше.

Она подняла подвешенное к поясу серебряное зеркальце и внимательно посмотрела в него, беспокоясь о сохранности грима.

— Как зовут этого лазутчика? — спросила она и провела мизинцем по брови.

— Его зовут Иуда Иссахариот.

Глава VII. Таинственное убежище

В дождливый вечер, когда небо над Галилеей казалось хмурым и смуглым, четверо путников карабкались по горным склонам недалеко от Геннисаретского озера (Галилейского моря).

Троих из них мы уже знаем: это был Йешуа, сын Иосифа, и два его ученика — Симон Зелот и Андрей Рыбак, давний товарищ Врачевателя. Четвёртым был рослый и сильный мужчина, в самом расцвете лет, с густой чёрной бородой; лицом и голосом он был похож на Йешуа, и так же был некрасив, и так же задумчив. Он заметно хромал и, несмотря на свою внушительную внешность, передвигался с трудом.

— Далеко ли ещё, Андрей? — спросил он хрипло.

— Скоро доберёмся.

— Скорее, а то через полчаса или час наступит такая тьма, что ты не найдёшь дороги.

— Успокойся, Иаков, я найду её с закрытыми глазами.

И они снова полезли вверх, цепляясь за кустарники. Дождь лил не переставая, и все четверо вымокли до нитки.

Наконец, Андрей остановился и указал рукой:

— Это здесь.

— Где? Я ничего не вижу, — возразил Иаков, брат Йешуа.

Андрей ответил:

— Так и должно быть. В двух шагах ничего не видно.

Он нырнул в самую гущу терновника и крикнул оттуда:

— Лезьте за мной!

Зажмуривая глаза и прикрыв лицо руками, остальные тоже продрались через колючие ветки и очутились прямо перед глубоким чёрным лазом, чуть-чуть шире лисьей норы. Рядом лежал замшелый, зеленоватый камень.

— Я не пролезу в такую узкую дыру, — сказал Иаков. — Плечи застрянут.

— Нужно постараться, — ответил Симон. — Дальше ход делается шире.

Йешуа бар Иосиф молча тронул руку брата.

— Лезьте же скорее! — крикнул Андрей, уже спустившийся вниз. — Не то вода натечёт в наш дом!

Голос его глухо прозвучал из-под земли.

Иаков вздохнул и стал протискиваться в лаз ногами вперёд. Йешуа и Симон помогали ему, нажимая на его плечи. Когда из лаза торчала лишь голова Иакова, он жалобно сказал:

— Я, кажется, падаю.

И с этими словами исчез в недрах горы.

За ним спустился Йешуа. Симон шёл последним, он взял зелёный камень и держал его над головой, опускаясь. Камень плотно лёг на устье лаза, и снаружи стало вновь тихо и безлюдно: только шелестел дождь, и струи сбегали по оголённым склонам горы.

Вошедшие в гору протиснулись через узкую горловину лаза и один за другим попадали с высоты четырёх локтей на нечто мягкое: это был Андрей. Он, кряхтя, принимал товарищей и отодвигал их в сторону. Тут царил кромешный мрак, было тихо и довольно сухо.

— Симон, выруби огня, — сказал Йешуа.

Андрей двигался впереди, словно видел в темноте. Симон дождался его возвращения, затем вытащил из-за пазухи кремёнь и кресало, начал бить; Андрей поймал одну из голубых искр на пучок просмолённой соломы. Вспыхнул огонёк, и Андрей бегом понёс его в глубину грота, где у него были, видимо, заготовлены и солома, и сухой хворост.

— Не опасно ли разводить огонь? — спросил Иаков.

— Снаружи ничего не видно, — ответил Симон. — Сто раз проверялось.

Андрей растопил очаг, воздушная струя потянула дым наружу сквозь трещины горной породы, и колеблющийся, скудный свет очага озарил пещеру.

Впрочем, это была не пещера.

В трёх шагах от лаза, которым они сюда проникли, под ногами обнаружился ровный пол, покрытый древними растрескавшимися плитами. Потолок местами осыпался, кое-где сквозь него проросли корни. На стенах виднелись какие-то тёмные изображения.

— Здесь нет змей? — спросил Иаков.

— Были, — равнодушно ответил Йешуа. — Мы им иногда приносили молока. Но в последний год их что-то не видно, вывелись, я думаю.

Иакова это не слишком успокоило, и он стал подозрительно вглядываться в тёмные углы помещения.

— Да не верти ты головой, словно курица, потерявшая цыплёнка, — сказал ему старший брат. — В это время года все ядовитые твари спят. Разденься, надо просушить одежду. Все разденьтесь, мы все промокли. Андрей, воткни-ка шест в стену...

Андрей отыскал в углу шест и воткнул его в трещину стены, так что шест нависал горизонтально над очагом, на высоте около двух с половиной локтей. На него повесили мокрую одежду.

— Сильно били? — спросил Симон, деловито разглядывая шрамы на спине Иакова. — Хребет-то цел?

— Досталось немного, — неохотно ответ Иаков. — Да что мне битьё...

— Он повредил ногу, когда их перебросили через городскую стену, — пояснил Йешуа Симону. — Нога ещё будет долго болеть.

— Да если бы не твоё снадобье, брат, я бы сегодня и не дошёл до этого места, — проворчал Иаков со стыдливой благодарностью.

Они помолчали, греясь у очага; четверо серьёзных, задумчивых мужчин, связанных родством, соседством, дружбой, а главное — общию великой надеждой. Им было тепло и покойно, заботы отлегли на завтра, они принесли с собою хлеб, да и в убежище этом были заготовлены кое-какие припасы. В сущности, если не очень придирается к словам, они в это мгновение были счастливы.

В убежище была запасена и чистая вода. Андрей поставил над огнём горшок с водой, начал варить бобы. Симон обдирал вяленую рыбу.

— Что это за место? — спросил Иаков, обводя взглядом странную пещеру.

— Это Дом Рыбы, — ответил Симон, — и во всей Галилее только сорок человек знают это убежище: несколько жителей Каны и рыбаки с берега.

— Почему же оно зовётся Домом Рыбы?

— Сейчас увидишь.

Симон взял сухую ветку, обмотал соломой и зажёл от очага. Потом он встал и с этим самодельным факелом подошёл к стене.

— Какие-то черты и пятна, — сказал Иаков.

— Встань и подойди, — ответил Симон, наклоня факел к стене.

И стало видно, что на стене, покрытой грязными подтёками, есть большое примитивное изображение рыбы.

— Это тайный знак рыбацкого союза, — сказал Андрей. — Дед мой Аарон знал эту тайну и передал её мне. Но вот уже пятнадцать лет как союз больше не собирается.

— Но почему рыба? И когда сделано это изображение?

— Ты живёшь над морем Галилейским и ещё задаёшь такие вопросы, — усмехнулся Андрей. — Рыба кормит нас, и все мы её дети. А этому изображению не меньше, как трижды семьдесят лет, ибо дед мой увидел его ребёнком, и оно тогда уже было старым.

— Трижды семьдесят?

— Семьдесят лет — век человека: так сказано в Писании.

— Тогда это двести и десять лет...

— Я думаю, оно ещё старше, — заметил Симон. — Может быть...

Он заколебался.

— Ну, говори же, — подбодрил его Йешуа.

— Может быть, эта рыба начертана ещё до обретения земли обетованной или в то самое время.

Симон не знал, что он приписывает этому святилищу угасшего культа тысячелетнюю древность, но он был недалёк от истины.

Дому Рыбы, конечно, было меньше тысячи лет, но он был создан не евреями.

Дело в том, что после того, как Йешуа Нун (Иисус Навин) захватил землю Ханаанскую, прежние жители её долго ещё жили на этой территории вместе с евреями.

Кровавое и стремительное завоевание, описанное в книгах пророков, и полное, беспощадное истребление ханаанян на самом деле не имели места: евреи постепенно проникали в эту страну, то побеждая ханаанян, то терпя неудачи, то обращая их в свою веру, то перенимая на время их богов. У ханаанян в ту эпоху были уже

боевые колесницы, а евреи, эта отклонившаяся к западу ветвь семитских кочевников, ещё не знали даже лошадей и совсем недалеко ушли от родственных им по языку и по крови пастухов Аравийской пустыни. Они тогда и не могли так завоевать Ханаан, как описано в Библии.

Они овладели этой страной путём вековой инфильтрации и долгой, упорной борьбы; ханаанеяне не были уничтожены, а слились с победителями. Не сразу евреи пришли к единобожию; следы иных культов, особенно поклонения быку и змее, сохранились в библейской книге «Исход» и в других книгах, хотя, естественно, передались через десятки поколений жрецов и поэтов в искажённом виде.

На севере страны, вокруг галилейского моря, необычайно богатого рыбой, когда-то процветал культ бога-Рыбы. Сходные боги имелись у соседних народов, например, у жителей Двуречья: был у них когда-то бог, изображавшийся в виде человека с рыбьей головой. В Аскалоне, одном из главных филистимских городов, находился храм богини Деркетто и рядом пруд с посвящёнными ей рыбами. В те времена, о которых идёт наш рассказ, в славном городе Эдессе, в Северном Двуречье, процветал храм богини-покровительницы рыбаков: в храме том был бассейн, где плавали священные золотые рыбки. Арабы верили, что это были люди, превращённые в рыб.

В тайном культе галилейских рыбаков забылось, что рыба представляла богиню-покровительницу, ибо идея женского божества была чужда резко патриархальной психологии еврейской нации. Потом постепенно пропало и само понятие божества. Рыбаки избегали называть рыбу божеством и не приносили никаких жертв на древний почерневший алтарь Дома Рыбы, но они несколько раз в году щедро подкармливали рыбу, и без того изобильную в их красивом озере. Они знали, что с ортодоксальной точки зрения в их культе не всё в порядке, а потому тщательно скрывали тайну, передавая её лишь посвящённым.

Религиозное поклонение Рыбе превратилось с веками в обычай, примету и идиому. Для всех местных жителей рыба оставалась едва ли не главным пропитанием (мясо бедняки ели редко), она была подательницей благ, о ней говорили только хорошее. Жители берегов умели плавать, как рыбы; подобно им,

никому не делали зла; подобно рыбам, были плодовиты. Ребёнка ласково называли «рыбкой», а себя — «детьми рыбы», давно уже не подозревая, что это название угасшего культа и тайного союза. Обо всём этом последние посвящённые в союз молчали, как рыбы.

— Всё же мне боязно в этой норе, — сказал Иаков, озираясь с отвращением. — Мало того, что я невольно осквернился, когда меня пригнали в Город Могил, так ещё вы меня затащили в языческое капище.

— Пустое, брат Иаков! — ответил ему Андрей. — Посмотри-ка теперь сюда. Посвети ему, Симон!

Симон со своим факелом перешёл к противоположной стене убежища, и на ней стал виден более явственный, недавний рисунок — человек в мохнатом плаще, окружённый отрубленными головами. Несмотря на примитивный характер изображения, любой еврей сразу узнавал в нём Илию Фесвитянина: именно так всегда изображался грозный пророк, истребитель баалитов (жрецов Ваала).

— Узнаёшь, Иаков?

— Да, это Илия. Вижу, здесь побывали и верные Богу. Но прежде-то здесь было... и зачем эта рыба...

Иаков был самым упрямым в своей семье.

— Далась тебе эта рыба! — с сердцем сказал Йешуа. — Или ты забыл Левиафана, рыбу-Бога?

— И в самом деле! — с облегчением вскричал Иаков.

Он вспомнил, что говорится в Писании о Левиафане, рыбе длиною в сто локтей и с хвостом, подобным ливанскому кедру.

— Так это Левиафан! — радовался Иаков. — Что же ты сразу не сказал мне этого?

Он совершенно успокоился, и темнота, еле разгоняемая скудным огнём, скрывала от него улыбки Симона и Андрея.

— Похлёбка готова, — сказал Андрей. — Давайте ужинать.

Он снял с очага горшок, поставил его среди товарищей.

— Учитель, благослови наш ужин.

И они, преломив хлеб, стали есть из одного горшка. У них была ещё рыба, хлеб и вода. Они согрелись, насытились, и среди них воцарилось полное спокойствие. Дождь где-то в углу капал в их убежище, но вода тут же уходила через промоину и не беспокоила их.

— Учитель, правда ли то, что говорят о кесаре? — спросил Андрей.

— А что о нём говорят?

— Один из греков, побывавший в собственной стране римлян, рассказывал в страшной тайне, что кесарь живёт на каком-то острове безвыездно, управляет через гонцов и предаётся неслыханному блуду.

— Так говорят все, — ответил Йешуа. — Он уже три года назад покинул Рим. Там слишком много людей, а ведь он людей ненавидит и боится. Сказанное этим греком похоже на правду.

— Этот грек поведал о таких мерзостях, что язык не поворачивается их пересказывать, — добавил Андрей.

— Нет, говори, если начал, — потребовал Симон.

— Он сказал, что на остров привозят маленьких девочек и мальчишек, ибо кесарь блудит с детьми.

— Тьфу! — дружно отплевались Иаков и Симон.

После паузы Йешуа задумчиво сказал:

— Он очень стар, и у него не хватает сил на обычных блудниц. А отстать от привычки он уже не может. Как глупо! И такой жалкий человек правит половиною мира.

— И римляне считают себя первыми и лучшими людьми в мире!

— Но ведь он побил многих людей в самом Риме! Значит не все они таковы, как он? — спросил Андрей.

— Ты видел когда-нибудь добрых римлян? — вскричал Симон в ярости.

— Каков хозяин, таковы и слуги, — поддержал его Иаков.

— Послушайте, братья мои! — сказал Йешуа. — Однажды у врат Хоразина мытарь подал кусок хлеба нищему. Этот мытарь добр, пусть так. Но не он ли разорил сотни земледельцев — может быть, и этого нищего? Так что нам проку в том, если даже есть на свете добрые римляне! Я могу поверить, что не все они так жестоки, как кесарь. Всё равно — Рим живёт чужими слезами. Для отдыха между войн можно и накормить одного, если перед тем ограбить дочиста тысячу.

— А тот нищий взял хлеб у мытаря, Учитель?

— Нет, не взял.

— И он был прав! — воскликнул Симон.

— Не знаю, — ответил Йешуа. — Может быть, не стоило отталкивать руку, дающую хлеб? Кто знает, не раскается ли мытарь в своём прежнем грехе?

— Простишь ли ты кесаря, если он покается?

— Если покается и отзовёт легионы в свою землю, и признает истину, то... прошу.

Слушатели Учителя замолчали, поражённые.

— Но ведь этого никогда не будет! — вскричал Симон. — И волк всегда останется волком!

— Да, волк останется волком, — грустно ответил Йешуа Назорей. — Но только, Симон, не говори: «никогда». Ибо кто измерит милосердие Господа? Кто бы поверил, что хасидим побьют войска Сирийца?

Он имел в виду воинство Маккавеев, которое называло себя «хасидим» («благочестивые»).

— Ничего и никогда не прощают только перушим, — добавил Йешуа, — и всегда считают себя правыми, и думают, что только на них нет греха.

— Среди них есть честные и умные люди, — сказал Иаков.

— Мало одной верности закону, мало одной учёности, мало одного ума: нужно уметь раскаиваться и прощать. Римляне не знают Бога правды, а перушим ему молятся и клянутся его именем, но не творят добра... Андрей, вспомни ту страшную историю об одной греческой мести, которую ты мне рассказывал однажды возле Бетсанды. Ты не забыл её?

— Нет, я помню, — ответил Андрей. — Это история одного из их царей, который враждовал с родным братом. Так бывает и в иных землях, ведь правда? Не помню, чем-то этот брат оскорбил царя. Тогда царь тайком убил своего племянника, изрубил, изжарил, позвал брата на пир и накормил его мясом собственного сына.

— Сына этого брата? — спросил Иаков.

— И греки такие же свиньи, как римляне, — с мрачным удовлетворением отозвался Симон.

— Какая мерзость! — произнёс Иаков.

— Теперь скажите, — спросил Йешуа, — на кого падёт грех: на того, кто убил мальчика и накормил мясом его отца, или на того, кто ел?

— На обоих поровну! — решительно отрубил Симон.
— Ты так думаешь? Но ведь отец не знал, что он ест.
— Невольный грех тоже грех.
— Но всё же вина убийцы несравненно тяжелее!
И все согласились с Йешуа.
— Так вернёмся же к римлянам: понимают ли они свою мерзость, пожирая детей? Но перушим знают, и вина их велика.
— Они ненавидят римлян так же, как и мы! — сказал Иаков.
— Ты прав, брат. Поэтому я надеюсь соединиться с ними, — ответил Йешуа. — Если они покаются, и сложат с себя одежды гордыни, и перестанут обижать людей земли, то мы примем их в общий союз. А с зелотами нам сговориться нетрудно.
— И тогда — война Риму! — вскричал Симон Зелот.
— Так думает Иоханан Пророк, — ответил Йешуа. — Он только ждёт смерти Кесаря.
— А ты, Учитель, о чём думаешь ты?
— Царства созидаются добром и разрушаются злом, — ответил Йешуа. — Если верные соберутся воедино, то не нужно нам будет пролития крови. Откажемся повиноваться чужестранцам и бичами прогоним из Храма предателей. Царство Рима стоит нашим разделением. Соберём верных в одно братство! И нам не понадобится убивать людей, творить зло и насилие: добром созидается Царство Божие!
Все долго молчали, прислушиваясь к шороху воды и собственным думам. Потом Йешуа добавил:
— Всякий, кто убивает, ведь он убивает брата. И всякий, кто морит голодом сирот, пожирает мясо своих сыновей. Люди не понимают, что они живут, как звери — или хуже зверей.
— Ох, это правда! — глухо простонал Симон Зелои.
Мучительный стыд слышался в его голосе. И никто не ответил ему, зная, как много случалось ему убивать.
Они лежали молча, думали, потом начали засыпать. Очаг угас, во мраке чуть светились тлеющие угли. Йешуа встал, подбросил несколько веток, раздул огонь. Потом сел возле Симона и положил ему руку на голову.
Симон вздрагивал и неровно дышал.

Йешуа лёгким касанием ощупал его лицо: оно было мокрым.

— Что это, Симон? — шёпотом спросил Йешуа.

— Учитель... это в первый... раз... за двенадцать лет, — чуть слышно ответил Зелот.

— Знаешь ли, брат мой, — шепнул ему на ухо Йешуа, — эти слёзы для меня — такая же радость, как избавление от смерти моего брата Иакова. Господь простил тебе, Симон!

Наступила тишина.

Йешуа лёг на ворох соломы и задремал.

Глубокая, дождливая ночь царила над Галилеей. Не было ни луны, ни звёзд. Угасли огни селений, утихли таверны городов. Даже в «Золотом Доме» Тибериады все спали, и стража спала стоя, опираясь на копья. И высоко в горах четыре человека спали в таинственном гроте, который некогда был храмом Рыбы. Спал, наконец, Йешуа Назорей — самая бдительная душа на земле.

Ему снилось весеннее голубое небо, покатым горный луг, покрытый нарциссами и дикими маками, дети, играющие среди цветов, и сам он среди этих детей — беспечный, весёлый ребёнок.

Глава VIII. Поздняя беседа

Зима в Палестине — это время проливных дождей и леденящих ветров. В один зимний вечер, не доходя до Каны Галилейской, трое путников оказались на пустынной дороге ввиду приближающейся бури.

Это были всё те же Йешуа Назорей, Симон Зелот и юный ессей Иоханан. Они возвращались с берегов Галилейского моря в Кану. Симон Зелот озира́л небеса и выказывал тревогу.

— Давайте свернём с дороги! — предложил он. — Отсюда в получасе ходьбы я знаю маленькую деревню, где у меня есть родня.

Йешуа поднял голову и посмотрел на небо. Казалось, близкая буря ничуть не пугала его. Однако он понимал беспокойство своих товарищей.

— Что ж, можно и свернуть к селению, — сказал он. — У тебя, Симон, везде родня. Только, мне чудится, приют и ночлег ожидают нас где-то поблизости.

— Учитель, до Каны ещё три часа ходу, и нам не укрыться от дождя.

— Может быть, ты и прав, — ответил назорей.

Пока они обсуждали этот вопрос, на дороге показались какие-то огоньки. Они дрожали, метались под порывами западного ветра и двигались навстречу трём путникам.

— Кто-то идёт, — сказал Иоханан, двоюродный племянник назорея.

— Это хорошие люди, — ответил Йешуа.

И они увидели впереди круглолицего человека в толстом плаще; два раба, предносители света, шли перед ним с факелами, а третий раб, вооружённый мечом, следовал в двух шагах за хозяином.

Увидя трёх путников, незнакомец высунул нос из-под капюшона и спросил по-арамейски с чужеродным греческим акцентом.

— Хорошие люди, не заблудились вы?

— Нет, господин, — ответил Йешуа, — мы идём в Кану. Но мы не надеемся дойти до неё прежде бури.

— Тогда идёте ко мне, — сказал круглолицый, — я обогрею вас и дам вам ночлег в моём доме.

Йешуа Назорей задумчиво посмотрел на своих спутников. Симон Зелот насупился и ответил:

— Не в обиду тебе будет сказано, добрый эллин, но мы правоверные иудеи и не входим к язычникам.

Человек в плаще грустно усмехнулся:

— Друг мой, не говори о язычниках! Я женат на иудеянке, ради нее я принял закон Моисея. Мой дом — это еврейский дом, если только в наше беспокойное и перепутанное время ещё могут быть настоящие евреи.

— Вот слово маловера! — неожиданно прозвучал голос Йоханана.

— Юноша, я выполняю обряды, — ответил круглолицый, — подаю милостыню бедным и призреваю усталых. За пять лет у меня не умер ни один раб!

— Мы идём с тобой, — сказал Йешуа.

И все отправились в ту сторону, откуда пришёл Йешуа со своими спутниками. На расстоянии немногим больше стадия от дороги отходила сельская тропа: рабы с факелами свернули на неё, путники в молчании преодолели подъём, и впереди показалась ограда с воротами, за нею — двери в сад, а среди мокрой зелени сада — небольшая вилла из белого камня. В ней светились огни, лом ждал хозяина. Заслыша приход людей, залаяли собаки.

Сторож поспешил отворить ворота. Круглолицый хозяин повернулся к троице гостям и сделал широкий жест:

— Войдите с миром! Мой дом — ваш дом.

Они прошли по усыпанной гравием дорожке. Над дверями виллы был высечен мраморный горельеф — виноградная лоза, обычное украшение богатых еврейских домов. Это несколько успокоило Симона Зелота, которому не понравилось слишком греческое устройство всей усадьбы и дома.

Внутри виллы толстогубый нубиец с ключами в руках встретил хозяина. Он говорил на смеси арамейского и койнэ: мода богатых еврейских домов той эпохи.

— У нас гости, — сказал хозяин, сбрасывая плащ на руки чёрного ключника. — Приготовь ужин на четверых в малом зале. Госпожа спит?

— Госпожа ждёт тебя.

— Сейчас я подымусь к ней.

Хозяин обернулся к гостям:

— Ступайте за мной, добрые люди.

Он повёл их в специальное помещение, где в каменном полу были выдолблены углубления для мытья ног; вода проходила по трубам мимо очага и была тёплой, как парное молоко. Два мальчишки разули хозяина и гостей, помогли им вымыть ноги.

— У тебя, видать, хорошо с водой, — заметил Йешуа, моя ноги рядом с хозяином.

— Я беру воду из горного ручья, — ответил тот. — Отвёл канавку: хватило и на сад, и для дома. Идёмте в столовую, я только поздороваюсь с женой и сию минуту вернусь к вам.

Он провёл гостей в свой малый зал, усадил их и ненадолго оставил одних.

— Ну, какой же это еврей? — проворчал Симон Зелот. — Только греки так увиваются возле своих жён.

Столовая уже была освещена и сразу же неприятно поразила пришельцев стенными росписями в греческом вкусе. Слуги вносили кушанья, а три ложа вокруг стола были уже мягко застланы. Хозяин вскоре вернулся к ним.

— Простите, добрые люди, что я оставил вас, — сказал он, — но я хотел успокоить супругу и предупредить её о приходе гостей.

— Ты поступил праведно, хозяин, — сказал Йешуа.

Эллин с круглым лицом чуточку опешил и присмотрелся к назорею. Симон Зелот тоже бросил на Учителя недоумевающий и словно обиженный взгляд.

При свете ламп хозяин выглядел старше, чем показался на дороге. На его круглом лице светились маленькие голубые глаза; высокий лоб переходил в лысину, обрамлённую редующими волосами. Он был некрасив, но приятен.

— Моё имя — Аарон, сын Креонта, — сказал он.

Гости назвали свои имена.

Он пригласил Йешуа, в котором угадал старшего, прочесть молитву. Все возлегли вокруг стола, и трапеза началась. Еда была проста, но хорошо приготовлена: обычный ужин в еврейском доме. Прислуживали те же два мальчика, что помогали мыть ноги.

— Скажи, Аарон, почему я ранее не видел твоей усадьбы? — спросил Симон. — Ведь я знаю давно всю эту округу.

— Я поселился здесь и выстроил дом год назад. Сад был и раньше, я купил его у Натана Кривобокого.

— Я знал Натана, — сказал Симон. — Все говорили, что сад его плох.

— Говорили правду, — кивнул хозяин. — Но я оживил его, ибо я люблю сады, а они любят меня. Можно ли найти лучшее применение деньгам, чем сад и новые плоды?

— Можно раздать деньги бедным.

— Да, но бедные останутся бедными, а земля должна рожать, приносить плоды. Ведь все люди едят плоды земли, а не серебро.

— Ты остроумен, Аарон! — с ноткой удивления молвил Йешуа.

— А ты не пьёшь вина, Йешуа?

— Я назорей и не вкушаю хмельного, как и мой племянник.

— А ты не желаешь ли доброго вина, Симон?

— Спасибо, Аарон, немного выпью.

Наступило молчание. Ели степенно и неторопливо. Внезапно юный ессеи прервал молчание:

— У твоих слуг цветущий вид, Аарон.

Хозяин поглядел на него с любопытством.

— Рабы — такие же люди, как и мы, — ответил он. — Я забочусь о них и редко наказываю; нерадивых я продаю, хотя бы и в убыток.

— Ты пригласил в дом таких простых людей, как мы, — сказал Йешуа Назорей, — и разделил с нами ужин. Хвала тебе, ты не горделив.

— По моему разумению, все люди, и князья, и пахари, и даже рабы равны перед роком, — ответил хозяин. — В хорошем отношении к рабам нет ещё истинного *добра*: просто по нраву мне мир, оттого и хочу я вокруг себя видеть спокойные лица. Не могу я терпеть вида голодных и страждущих.

Йешуа понимающе кивнул:

— Ты мягкосерд к малым людям ради собственного спокойствия.

— Истинно так, Назорей. Я не обременяю их непосильной работой, хотя и не люблю видеть их без дела: ничем не занятый раб портится и пропадает.

Наступило молчание. Взор Йешуа блуждал по стенам зала. Прямо против него на стене был довольно искусно написан приморский пейзаж, прачки с корзинами белья, идущие к воде, и нагой мужчина, прячущийся от них за кустом.

— Навсикая, — сказал Йешуа, указывая на женщину без корзины, изображённую в центре картины.

Хозяин от изумления чуть не подавился сливой.

— Неужели ты знаешь Гомера? — вскричал он.

В глазах гостя мелькнула добродушная ирония.

— Не правда ли, сколь дивно встретить на дороге неписменного еврея, которому ведомы песни эллинов? — спросил Йешуа.

Сын Креонта покраснел и смутился.

— О гость, не пойми меня так! Я уважаю еврейскую мудрость, но они ведь так далеки от ионических песен.

— Ты прав, — кивнул Йешуа. — Эллину и еврею трудно понять друг друга. Да, это правда. Но в Галилее много эллинов, и один из них рассказывал мне песни Гомера.

— Понравились они тебе, или это слишком языческие песни?

— Трудно тебе ответить, мой добрый Аарон, — в задумчивости сказал Йешуа. — У этого Гомера есть большое сказание об осаде великого города. Я диву даюсь, как мог этот певец столь красноречиво прославлять бесконечные человеческие убийства! И добро бы это была война за веру, а так — из-за красивой женщины... Не понимаю. По мне, это всё едино, что прославлять глупость людскую.

— Ах, ты прав, клянусь утренней звездой! — воскликнул хозяин.

— Не клянись! — заметил юноша Иоханан.

Хозяин смутился и попросил извинения за свою забывчивость. Утренней звездой клялись арабы; то была звезда Иштар, финикийской Ашторет, греческой Афродиты. Иудею не подобало клясться ею.

— Песнь о мореходе гораздо лучше, — продолжал Йешуа.

— Ты любишь Одиссея? — с жадным любопытством спросил хозяин.

— Нет, господин и друг мой. Я его не люблю. Он слишком много хитрил и обманывал.

Эллин-еврей был сбит с толку.

— Так почему же «Одиссея» нравится тебе?

— Там немало правды о жизни. Эллины думают, что это сказка, но там скрыта и подлинная мудрость. Я люблю то сказание, где царевна Навсикая отпускает морехода на родину, хотя и полюбила его.

Йешуа показал на стенную роспись, и все посмотрели тоже.

— Она нашла его на берегу моря, накормила и одела его. Она хотела бы стать его женой, но у него уже была жена и дети, и родной дом. И она снарядила ему корабль и подарила ему свободу, а выше этого дара нет ничего. И она сделала счастье из своего несчастья.

— Учитель, раз она отпустила жениха, то, наверное, впала в кручину.

— Нет, Симон, ты не понял. Она стала счастлива его свободой. Такие женщины угодны Господу. Будь таким же, как Навсикая: даруй свободу тому, кого любишь, и не думай о себе.

— Как хорошо ты сказал! — пробормотал Аарон.

— И ещё я люблю то место в песне, где старый пёс первым узнал хозяина и даже издох от радости.

Хозяин, забывшись, пропел несколько слов на старом ионийском диалекте. Он был взволнован.

— Но как отвратительно слышать, — с силой сказал Йешуа, — о кровавом избиении глупых женихов! Ведь они даже и не думали, что мореход остался жив. В чём же была их вина?

— Жестокое старое время, — извиняющимся тоном сказал Аарон.

Мягкое лицо Йешуа потемнело:

— Когда-нибудь и о нас скажут: «Жестокое стародавнее время!» И будут творить новые жестокости, притворяясь, будто стали умнее отцов. Нет оправданию насилию во веки веков!

Аарон, расстроившись, как ребёнок, отложил недоеденную виноградную кисть и подпер голову рукой.

— А помнишь, как Одиссей в шеоле отталкивал тень своей родной матери? — беспощадно продолжал Йешуа.

— Ему нужно было услышать прорицание Тиресия! — вскричал хозяин.

— Нужно? Очень нужно? Нужнее голоса матери? Нужнее, чем добро?

— Но от указания Тиресия зависела его жизнь!

— Что из этого?

— Так ты считаешь, что добро превыше жизни? — со страхом и почтением спросил Аарон.

— Евреи всегда без трепета умирали за правую веру! — сказал Симон.

— Гость мой, тут речь об ином. Не веру Моисея, а простое добро следует ли ставить выше жизни?

Йешуа опустил голову и, приподняв правую руку, смутным жестом отвёл её от головы в сторону, как бы говоря: «Видимо, так».

— Воистину, эллину не понять еврея, — упрямо сказал Симон, — а еврею не сговориться с эллином!

— Не говори так, гость мой! В Александрии живёт один еврей, к которому ходят учиться и евреи, и эллины. О мудрости его наслышаны Афины, Дамаск и Иерусалим. Он хранит верность нашему Закону, но прочёл Платона и превзошёл эллинскую мудрость. Его зовут Филоном Евреем.

— Эллинский ум — это детский ум, — сказал Йешуа, — и эллины никак не могут повзрослеть.

— Речи твои дивны, — сказал Аарон. — Я поклоняюсь Единому Богу и не вкушаю нечистого, но почему нельзя иудеям ценить мудрость иных народов?

— Можно и должно, — ответил Йешуа.

— Как же ты равняешь с неразумными детьми Сократа и Платона?

— А знаешь ли, многоучёный муж, что малые дети весьма разумны, часто даже разумнее седобородых книжников.

— Но всё же они дети!

— Да, Аарон, всё же они дети, только не зови их неразумными. Многое открывает им Господь, но дети есть дети. Они не имеют силы духа и живут, играя. Таковы же и все эллины.

— Дорогой гость, расскажи подробнее, что ты под этим понимаешь.

— С охотой, Аарон, только закончим трапезу, омоем руки и оставим застолье, ибо у друзей моих уже слипаются глаза.

— Учитель, — сказал Иоханан, — позволь мне слушать ваши речи.

— Если хочешь, дитя моё.

— А я, пожалуй, лягу спать, — сказал Симон Зелот.

Хозяин кликнул своего чёрного ключника и велел ему отвести Симона на покой, а сам с Назореем и его племянником перешёл в библиотеку, полную пергаментных и папирусных свитков. Здесь Тора соседствовала с сочинениями эллинских мудрецов, а на стене были изображены Земля, Луна, Солнце и звёзды, как их представляли себе Аристотель и Птолемей.

Усадив гостей и усевшись сам, Аарон возобновил беседу:

— Почему, мудрый странник, ты уподобляешь эллинов играющим детям?

— Я скажу тебе, Аарон. Потому что эллины более всего ищут утехи своим чувствам и радостей для плоти.

— Таков был Эпикур, но не все эллины чтят его учение. Афинская школа не искала плотских радостей, а искали Высшего.

— Они искали утехи для разума, — ответил Йешуа. — А большинство эллинов живёт ради плотских радостей. Они услаждают свой слух музыкой и сладкими песнопениями, услаждают свой взор идолами, одетыми и раскрашенными наподобие живых людей, услаждают нёбо медами и пряными яствами, услаждают свою похоть частыми сношениями с блудницами, и это есть пустая игра, ибо не служит продолжению рода. И такую же пустую игрой мнится мне вкушение пищи до голода и питьё вина прежде жажды, равно как сотворение кумиров, в которых никто уже не верит, ниже сами ваятели их. Всё это — только утеха и обман собственной души. Эллины живут играя.

— В твоих словах много правды, Йешуа.

— Хорошо и то, что много, — иронически заметил назорей. — Все знания и умы эллинов устремились на ложный путь, и ведёт он их не к обители Господа, а к бездне, наполненной смрадом и трупами. После размышлений нескольких мудрецов об истине и Боге, Эллада скоро устала и вернулась к своим наукам. Вся наука

служит их радости. Я не удивлюсь, если эллинские повара напишут для чревоугодников особливые книги о том, как приготавливать диковинные блюда...

— Такие книги есть, — пробормотал хозяин.

— Или ещё найдутся учёные блудницы, которые опишут в пространных сочинениях все тонкости и уловки своего мастерства.

— И это уже есть! Всё это написала Элефантида, и притом весьма искусными стихами.

— Быть того не может! — вскричал Иоханан.

— Почему же? — спокойно заметил Йешуа.

— Так оно и есть, — подтвердил хозяин. — Но вспомни, назорей, даже в Содоме нашёлся один праведник. Так и в Элладе есть мудрецы, презирующие плотскую утеху. Их называют стоиками.

— Чему же они учат? — с любопытством спросил Йешуа.

— Нелегко изложить это в коротких словах, но я попытаюсь, богоданный гость мой.

— Скажи нам главное.

— Мудрецы Стои, из них же главные *Зенон* и *Хрисипп*, укротили гордыню многосведущих. Знание земных вещей не может быть целью само по себе, так учат они. Собиратель знаний, не умеющий жить праведно, подобен скупцу, который спит на мешках с золотом и гложет сухую корку. Знание есть только средство, чтобы приобрести умение достойно жить.

— Это хорошо, — сказал Йешуа. — А как жить достойно?

— А жить надо сообразно природе, — продолжал ободрённый Аарон, сын Креонта. — Счастье заключается в свободе от страстей, в спокойствии духа, в равнодушии. Мудрому следует избегать треволнений. Не должно человеку нарекать на ход вещей: что толку бранить камень, падающий с горы? Судьба всевластна, и с нею спорят одни лишь безумцы. Итак, должно следовать судьбе и повиноваться ей. Не так ли, гость мой?

— Нет, не так, — прозвучал тихий и ясный ответ.

— Как? Неужели ты не веришь в судьбу?

— Пойми же, несчастный человек, что мудрость Стои ещё хуже, чем низкие страсти и глупые игры эллинов и римлян. Ведь если они уподобляются животным в неразумии страстей, то Зенон, Хрисипп и ты, их ученик, желаете прозябать, подобно траве, ибо

бесстрашие есть удел растений. Камню я предпочту траву, траве я предпочту зверя, зверю человека. Горе равнодушным, ибо им нет спасения.

— Я не понимаю тебя, добрый человек.

— Скажу тебе иначе. Вот ты окружаешь себя спокойными лицами, хорошо кормишь слуг своих и не ломаешь их рук и ног. Потому душа твоя спокойна, и ты закрываешь глаза, как ребёнок, на всю страну окрест, стенающую под бичами неправой власти. Что же сказать о таком спокойствии духа? Равнодушная мудрость не ведаёт жалости и не желает видеть язв людских. Порочный человек сегодня жесток, но завтра может смягчиться, ибо страсти гонят его по кругу земли, но равнодушный жесток всегда.

— Но какой же смысл бороться против Судьбы и не мудрее ли прозябать, как ты говоришь?

— Истинно говорю тебе, совесть превышает судьбы, и воля Бога Живого свершается каждый день.

— Назорей, нам не дано изменить ни йоты в Книге Судьбы.

— Аарон, Книга Судьбы не написана, и прежде конца мира Господь не скажет последнего слова.

— Разве мир не сотворён много веков тому назад?

— Сотворён и был разрушен потопом, и заселён вновь. Подобием всемирного потопа были страшные войны, трясения земли и моровые поветрия. Творение продолжается. Ибо когда гончар остановит круг и скажет, что сосуд готов, то сосуд этот перестанет изменяться, и из мягкого станет твёрдым, а отверделое мертво. Запомни, мой добрый хозяин, жизнь есть неготовое.

— Как понять, что творение продолжается? Кто же ныне творит мир?

— Воля Божия через верных ей людей. Есть только Воля Божия, и к ней поднимаются мольбы людей. Нет судьбы, которой ты поклоняешься, нет извечной и предначертанной для всех будущих поколений. Мореход в неведомом море, хорошо выбирай свой ветер! Не будь никогда равнодушным, плыви, молись, и Бог поможет тебе. Но если ты снял парус и оставил кормило, Бог предоставит тебя твоей слепой Судьбе. Бойся остаться в одиночестве без Бога. Ибо наедине с судьбой ты плывёшь прямо к вечному дому, и равнодушие есть смерть.

— Но что же тогда истинная жизнь, назорей?

— Бог есть любовь.
— Эрос, как у Платона?
— О нет, не Эрос, но *аганэ*, любовь божеская и братская.
— Никогда не слыхал я таких речей, гость мой.
— Ты ещё не раз их услышишь, ибо наступают новые времена.

Аарон вздрогнул и вперил в назорея сверкающий взгляд; затем произнёс несколько непонятных слов и умолк, ожидая ответа. Йешуа покачал головой.

— Нет, Аарон, я не понимаю языка вавилонян.
— Однако ты узнал сам язык?
— Да, я прежде слышал халдеев — немного. Почему ты подумал, что я знаю этот язык?
— Я подумал, что ты звездарь, а все, кто читает по звёздам, уважают Вавилон, корень этой науки.

— Не нам, иудеям, уважать Вавилон, и я не звездарь, а врачеватель. Но ты, я полагаю, сам читаешь по звёздам...

— Да, я сам звездочёт.
Хозяин говорил негромко, и взор его затуманился.
— Узнай, назорей, что я родился в Вавилоне, и в жилах моих течёт не только эллинская кровь.

— Время позднее, — сказал Йешуа, — но поведай нам о себе, и о том, что ты прочёл в звёздах.

— Так я и сделаю.
Аарон провёл рукою по лицу, минуту помолчал и заговорил:

— Знайте же, гости, что я родился в Вавилоне и происхожу из знатного рода, в котором смешалась вавилонская и эллинская кровь. Когда Александр Великий взял в жёны царевну Статиру, то одновременно восемьдесят друзей его вступили в брак со знатными персиянками и ещё десять тысяч воинов, эллинов и македонян, взяли в жёны дочерей Востока, ибо царь обещал заплатить им все долги за это. И один из этих эллинов был Никомах, дед моего деда. Род наш возвысился при Селевкидах, богатство помогло нам пережить их крушение и уцелеть в тени новых царей, однако постепенно наш род переселился в Сирию, Элладу и Египет, ибо иго парфян стало нам тяжело. Я родился в

Вавилоне, учился в Антиохии и Афинах, жил везде, от Евфрата до Тибра...

— Ты жил в Риме?

— Семь лет провёл я в нём, гости. Ибо я изучил не только физику, этику и логику эллинов, но и вавилонскую науку звёзд. Мои гороскопы всегда сбывались, и слава моя дошла до самого кесаря. Он призвал меня к себе, и я предстал перед властелином мира.

— Ты видел Тиберия? — воскликнул Иоханан.

— Как вижу вас. И я видел его не единожды. Ибо он пожелал, чтобы я прочёл по звёздам его судьбу.

— Но расскажи, каков он собою!

— Говорят, старость сильно изменила его. Тогда он был высок и силён, мышцы его были толстые, как у циркового бойца, и красивое лицо — с орлиным носом, с большими серыми глазами, только говорил он плохо и трудно. Рассказывали, что он мог одним щелчком пробить темя взрослого мужчины. Он никогда не изучал ни риторики, ни диалектики. Телесная красота и сила были его богатством от природы.

— Самое непрочное, — пробормотал Йешуа.

— Тиберий хотел узнать, нет ли у него врагов в Сенате и во дворце. Мне пришлось проделать громадный труд и много расчётов. Я не стал скрывать от него правду... Вы люди верные и не станете повторять этого...

Оба гостя молча кивнули.

— Звёзды открыли мне, что кесарь умрёт от руки очень близкого человека, которому он верит. Я сказал ему, что он должен остерегаться одного из людей, им любимых. Кесарь был поражён, однако, мне показалось, в душе признал истинность моего предсказания. Он щедро заплатил мне за труд и приказал молчать об этом под страхом смерти. Вам первым открываю я эту тайну.

Потом он запретил римлянам обращаться к звездочётам, и я понял, что он не хочет, чтобы его подданные могли, кроме своей, узнать и его будущую судьбу. Но римляне продолжали тайно, по ночам, ходить к звездочётам и платили за прорицания большие деньги. Я знал, что так продолжаться долго не может, а потому все свои богатства обратил в золото и драгоценности, которые можно было легко унести с собой. И вот прошёл год после моей

последней встречи с Тиберием, и вышло повеление кесаря выслать из Италии всех предсказателей судьбы, числом не менее четырёх тысяч.

Я уехал в Афины и нашёл там друзей, но власти, зная о немилости кесаря, не дали мне покоя. Тогда я удалился в Азию, но легат кесаря захотел наложить руку на моё имущество, и я узнал об этом заблаговременно. Покинув Азию, я отправился в Антиохию, где собирается прекрасное общество. Там, в долине Дафны, я встретил на празднествах знатное иудейское семейство, дочь которого стала моей женой. Мы оба желали уединения; мой тесть дружил с большими людьми в Тибериаде. Галилея не подчиняется власти сирийского легата кесаря. Итак, я избрал эту местность. Приняв перед женитьбой закон Моисея, я сменил своё имя. И здесь я обрёл покой. У меня есть жена, дочь, сад и звёзды.

Теперь послушайте о том, что занимает вас более, чем моя жизнь.

Аарон, сын Креонта, помолчал, собираясь с мыслями.

— Ты говорил, мудрый назорей, что нет от века предначертанной судьбы. Всё же в мире и в небе я нахожу знаки будущего. По моему разумению, грядущее не только *будет*. Оно отчасти уже *есть*. И его знают звёзды, ибо они были прежде нас и пребудут дальше: неподвижные, они живут.

Итак, тридцать лет назад, когда у меня ещё не росла борода и я ещё только подбирал первые крохи от пиршества халдейских мудрецов, хвостатая звезда взошла на востоке и ушла на запад: никто раньше такой не видел. Учёные мужи Вавилона изрекли, что звезда возвещает рождение царя, который потрясёт вселенную. Заметьте, что ни в Индии, ни в Парфии, ни в Риме не родился в тот год наследник высшей власти, и звезда указывала не на них. Где родился царь, я не знаю, но он родился.

Незадолго до моего приезда в Галилею явился здесь пророк сурового вида, именем Иоханан; вы о нём, конечно же, слышали. Он купает людей в Иордане и вещает скорое пришествие Царя-Помазанника, или *басилевс христос*, как говорится по-гречески. В этой стране уже не раз случалось, что народных вождей объявляли мессиями, так что иногда в один день и час было сразу три мессии.

— То были ложные мессии! — не выдержал Иоханан.

— Я тоже думаю, что они самозванцы. Но галилейский пророк не выдаёт себя за мессию, а лишь называет себя его предшественником. Думается, та хвостатая звезда возвещала рождение царя, о котором ныне говорит Иоханан Предтеча. Тому царю должно быть тридцать лет, это цвет века человеческого. Он ещё скрывается, но час его близок.

— Воистину так! — сказал Йешуа, спуская лоб на руку.

— Я здесь не перестал наблюдать звёзды, — продолжал Аарон. — Ныне явились небывалые сочетания звёзд и планет. Небо изменяет вечное лицо своё. Увеличилась сила красной звезды Марса, а это сулит кровь и людскую погибель. Друзья написали мне из Египта, что, по глаголу тамошних жрецов, птица Феникс готовится умереть и восстать из пепла. Это означает большую перемену времён.

— Тоже правда, — подтвердил Йешуа.

— Кажется мне... ещё раз прошу вас сохранять тайну... что к кесарю приближается Великая Успокоительница, и тогда Царь Звезды займёт его место. Юлий пал от кинжалов своих сенаторов и друзей, Октавиан умер спокойно в своей постели. Какова будет кончина Тиберия?

— Она будет плохой, — сказал Йешуа.

— Откуда ты знаешь, если не веришь звёздам?

Йешуа улыбнулся:

— Будущее можно узнать не только от звёзд, но и от пастухов. Бог судит каждого по делам его, и знаки этого суда явны всем, кто хочет видеть. Взявший меч погибнет от меча, и неправое сокрушится неправдой.

— Мне трудно постигнуть путь твоих мыслей, о мудрец!

— Но почему же? Ведь ты учён и сметлив.

— Ты первый сказал, что наступают новые времена, а когда я привёл свидетельства звёзд, ты не спорил, а подтвердил их. Но ты сам сказал, что не веришь в судьбу.

— Нет, я сказал нечто иное. Судьба велика и сильна, как власть кесаря. Но как Парфия и варвары Севера ставят предел кесарю, так и Божия воля превышает судьбу. Мужайся и борись за Божию правду, ты можешь многое претерпеть и пострадать, но судьба не одолеет тебя. Совесть превыше судьбы.

— Что же ты скажешь о звёздах, назорей?

— Знаешь, что говорят мудрецы в Иерусалиме? Праотец наш Авраам обречён был звёздами на бесплодие. По его гороскопу у него не должно было быть детей. Он же родил Исаака и дал начало избранному народу, хотя это не было начертано от века, и звёзды предвещали обратное.

— Может ли это быть? Гороскоп был составлен неправильно!

Гороскоп был составлен правильно, Аарон. Или ты думаешь, что мудрецы древности, учителя твоих учителей, хуже тебя понимали письмена неба?

— Как же это понять? — спросил хозяин, бледнея. — По-моему, космос только видимость и мы живём среди хаоса?

— Нет мир есть космос (порядок), но устроение его длится и ныне. Я же тебе сказал. Когда ты строил дом свой и обновлял сад, разве не приходили тебе в голову переделки плана?

— Кажется, я даже поспорил с моим архитектором, ибо я хотел с крыши дома без помех наблюдать небо, он же не понимал, для чего я нарушаю стройность пропорций. И сад я разбил заново, а эту весну всё переменял снова.

— Так что ж удивляешься, что Господь испытует и отменяет приговоры, если простой дом на земле перестраивается по три раза?

— Но вести о грядущих переменах — их ты признал?

— Да, это будет воистину, так должно быть.

— Должно?

— Да, Аарон. Не предначертано от века, но теперь сделалось должным. И не судьба сулит перемены, а обида народов, ею же явлен гнев Божий. Тысячи племён хотят изменить лик земли. Значит, перемены будут. Такова воля Господа.

— Кто познал её?

— Несколько человек её поняли.

— Назови мне троих, и я соглашусь.

— Ну что ж, — рассеянно сказал Йешуа. — В Иерусалиме живёт благочестивый Гамалиил.

— Да, он славится своею учёностью, но он фарисей?

— Он принадлежит к хевре фарисеев, но слово его неложно и жизнь свята. Он понимает волю Бога. Ты уже упомянул

Иоханана, сына Захарии. Но более всех видят знаки Божия суда старцы из пещер Енгадди, имена же их ненарицаемы.

— Мудрый гость, ты умолчал о себе.

— Я простой врачеватель, но и я разношу слово Истины. Я жду, когда исполнится чаша гнева Божия и сбудутся речения пророков. Израиля. Час близок. Идут новые времена.

— Ты прав, Йешуа. Мир должен перемениться. Этого хотят все. Даже многие римляне томятся под пятой кесаря.

— Нет, Аарон, не говори мне о Риме. Сыны Волчицы забыли свою свободу ради дарового хлеба и бесплатных игрищ. Рабство пришлось им по душе, и более всего на свете они любят свой неправый закон, своё железное ярмо, заменившее им и Бога, и совесть. Язычники думают, что, если исполнять всё, написанное в их скрижалях и заветах, то совсем не обязательно быть добрым. Они спокойны во зле и горды в неправде своей. Смерть в душе Рима.

— Ты полагаешь, что парфяне завоюют нас и уничтожат силу кесарей? — с волнением спросил хозяин.

— Да нет же! — нетерпеливо возразил Йешуа. — Могут ещё быть войны Рима и Парфии, на долю обеих сторон выпадут и победы, и поражения, но этим ничто не решится. Сила изнурительна для сильного, Рим истощил сам себя. Рим сокрушится изнутри, как храм в Дагоне, столпы которого сломал Самсон.

— И этим Самсоном будет уразумевший волю Божию?

— Да, ты понял наконец! — улыбнулся Йешуа, показав все свои дурные и нечастые зубы. — Люди камень по камню разнесут Дом Юпитера, перо за пером ощилят Орла. Чёрный ветер пустыни пролетает над городами и не может им повредить, сила его бессильна. Но тьмы малых песчинок, тьмы тем и более того сыплются тихо и непрерывно, днём и ночью, и погибают сады, колодцы, храмы. Они не ломают и не сокрушают, но они одолевают množеством. Малое сильнее великого.

Аарон, сын Креонта, в волнении стиснул руки и всем телом подался вперёд:

— Так значит, Йешуа...

Назорей кивнул головой и ответил:

— Да, мы разрушим Рим.

IX

Тибериада была молодым городом. Её смешанная архитектура, ее колоннады, коринфские капители и еврейский кубические дома, её восточные рынки и пёстрое население, статуи Тиберия Августа, недавние сады — всё придавало городу отпечаток злободневности, юности, моды.

Это был один из тех эллинистических городов Ближнего Востока, которые быстро расцветали, но столь же быстро отцветали, подобно «адонисовым садам» на греко-сирийских празднествах в честь богини любви и её прекрасного возлюбленного, убитого диким вепрем. Из таких эллинистических городов наибольшую славу через сто с небольшим лет завоевала Пальмира.

В тот ясный зимний денёк Тибериада жила обычной жизнью: торговала, воровала, молилась. После полудня из дворца тетрарх галилейского выехала пышная процессия.

Её открывали и замыкали наёмные воин тетрарха, вооружённые до зубов; ехали на мулах евнухи и женщины дворца. В центре процессии, величаво покачиваясь, плыл большой паланкин, пурпурный с золотом.

— Иродиада!

— Царица! — слышалось в уличной толпе.

Многие приветствовали царицу, иные молчали, а были и такие, которые исподтишка бормотали: «Иезавель!» — и смотрели на всадников в блестящем вооружении, словно считали, сколько на сегодня силы охраняет внучку Ирода Великого.

Иродиада покинула столицу и удалилась в любимую загородную резиденцию, в своё горное гнездышко, выстроенное в новом аттическом стиле, среди сада и финиковых пальм, гранатовых деревьев и различных вечнозелёных кустарников.

Ирод Антипа возражал против этой поездки, но его жена настаивала. Она устала, двор скучен, Тибериада ей надоела; к тому же, в сельском уединении она сможет заняться гаданьями и посоветоваться с несколькими мудрыми женщинами.

— Мне обещали достать одну аравитянку, которая занимается скапулимантией, — сказала Иродиада. — Она сама из Медины и в наших земле ей нет равных.

Скапулимантией эллины назвали гаданье по лопаточной кости и, наравне с арабами, считали его самым точным и надёжным из всех гаданий.

Тетрарх был согласен, что настала пора в очередной раз заглянуть в будущее. Он отличался суеверием, и его мучили упорные утверждения галилеян, что Иоханан Пророк своими глазами видел Мессию.

Ирод Антипа попросил Иродиаду передвигаться осторожно и там, в горах, тщательно следить за охраной. Зная, что основная ненависть галилеян обращена на его жену, а не на него самого, Антипа усилил эскорт царицы.

Прибыв в свою загородную резиденцию к ночи, Иродиада выставила караулы, приняла ванну и только после этого приказала ввести аравитянку.

Доверенный евнух, разгоня любопытных невольников, провёл по коридорам высокую женщину в обычной арабской одежде, в длинном покрывале, закрывавшем голову и часть лица; только два огненных глаза мудрой женщины сверкали временами, бросая вокруг осторожные взгляды.

Когда аравитянка осталась наедине с Иродиадой (и её глухонемой нубийской рабыней), царица жестом приказала гостье снять покрывало.

Аравитянка повиновалась.

Тогда из-под грубого арабского платка явилось лицо двадцатипятилетнего херувима с первыми тонкими усиками, свежими щеками и алыми губами, созданными для поцелуев.

— Ты действительно красив, внук Иссахара! — сказала царица.

Иуда Иссахариот пал ниц перед царицей, слово ослеплённый её величием и красотой.

Она предстала перед молодым лазутчиком во всём блеске позднего сладострастия, убранная пышно и в то же время фамильярно, умащённая тончайшими благовониями и вся увешанная драгоценностями.

— Встань! — приказала она. — Выполнил ли ты наше поручение?

И он ответил, что выполнил, и дал ей полный отчёт.

Зима с её ветрами и ливнями противодействовала сборищам в Еноне, Иоханан располагает небольшим числом людей, и число это уменьшается. Через полмесяца начнутся работы в садах и виноградниках, и эти работы будут требовать всё больше рук. Многим «купальщикам» стало казаться, что в этом году Мессия не явится. Очень скоро — дней через десять — наступит самое удобное время для ареста Иоханана.

Следовало бы сделать это по возможности быстрее, лучше всего при помощи конного набега на Енон, и если это возможно, то пусть среди этой конницы хотя бы половину составят римляне. Нужно окружить лагерь в Еноне и сразу наброситься на чёрный шатер Иоханана. Узнать его очень легко...

— Какое время дня лучше подходит для этого?

— Раннее утро, до завтрака, — последовал мгновенный и уверенный ответ.

Иродиада молчала, разглядывая гладкое лицо лазутчика. Да, он не только красив, ещё ловок и умён. Такие люди должны восседать на тронах или, по меньшей мере, делить ложе с царицами.

— Ты сделал большое дело, Иуда, — сказала она. — Награду свою ты получишь от Эвбула Финикийца. Но прежде, чем он отвесит тебе заслуженное серебро, я хочу сама наградить тебя — иной наградой. Подожди здесь.

Она встала и ушла с рабыней в свою опочивальню. Иуда Иссахариот остался. Прислонясь к колонне, он гадал, что за награду вынесет ему царица: золото, алмазы или рубины? Может быть, одарит богатой одеждой?

Снова послышались твёрдые шаги.

Нет, это была не царица.

Чёрная рабыня вернулась одна и поманила рукой Иуду. Сбитый с толку, он последовал за ней.

В полумраке опочивальни светился один ночник и тлели курильницы, напоявшие воздух густым и сладким ароматом. Здесь было жарко и трудно дышать.

За полуоткрытой завесой ложа Иуда увидел обнажённый торс царицы, её роскошные плечи, её понурые груди и круглую шею, обременённую ожерельями. Иродиада смотрела на юношу расширившимися зрачками.

— Приди и ляг со мною! — повелела она.

Нубийская рабыня быстро и ловко раздела Иуду, подтолкнула его к ложу, ободряюще оскалила зубы.

Тусклая красота Иродиады, вдвое старшей, чем Иуда, не волновала его; однако он принадлежал к числу тех молодых людей, плоть которых повинуетя их честолюбию.

Его возбуждало сверхзапретное. Он знал, что рискует очень многим: может быть, жизнью. И вождение его подчинялось славе и риску.

Объятия его оказались жаркими и мощными.

Спустя четыре часа, усталая и довольная, Иродиада отпустила его.

Она потребовала вина, охлаждённого снегом, и долго пила, пока не утолила жажду.

Тело её слегка побаливало от усталости, но тёплое блаженство, баюкавшее её, не сразу нагнало на неё сон. Иродиада долго ворочалась на своём ложе.

На другой день она послала срочное письмо к Антипе с указаниями для ареста Иоханана, а другое письмо — своей дочери Саломее.

Х

На берегах Геннисаретского озера, иначе Галилейского моря (длиною в 31 километр, шириною в 8), с недавних пор именуемого Тибериадским озером, во множестве произрастают финиковые пальмы и плодовые деревья. Озеро богато рыбой, окрестные жители занимаются рыбной ловлей. Через Геннисаретское озеро протекает Иордан.

На берегах озеро располагалось несколько больших и малых городов. На северном берегу озера находился город Капернаум; он стоял на большой караванной дороге из Газы в Дамаск.

Расставшись с Мардовием Вавилонянином, Йешуа Назорей гостил в Кане Галилейской, где снискал большую известность среди жителей. Небольшая группа учеников окружала его и ловила каждое его слово: Иоханан Ессей, любимец Учителя, и брат его Иаков, к которым пришла их мать Саломея, почтенная вдова Заведея, разделявшая преклонение её сыновей перед Назореем; братья Андрей Рыбак и Симон Зелот, прозванный Петром; странник Фома, мытарь (публикан) Матфей, Варфоломей и ещё несколько молодых людей. Кроме того, слава о чудесных исцелениях магнетически притягивала к Назорею всякого рода нищий люд, которым всегда была полна Палестина: слепых, хромых, увечных... Нескольким человекам он помог, одного или двух исцелил, остальных просто кормил, и нищие, составлявшие, как всегда и везде, особое братство отверженных и презренных, ещё далее разносили многократно умноженную славу о чудесах, которые творил Йешуа Назорей.

Порядочные люди с отвращением смотрели, как человек, знающий Закон и пророков, сведущий в искусстве врачевания и слышущий мудрым, возится с таким грязным сбродом. Иные даже говорили об этом Назорею, порицая его за столь низкие связи и знакомства.

Но упрямец отвечал чудовищными парадоксами, ставя этот сброд и этих колченогих шакалов, вечные отбросы Палестины, превыше благородных, превыше знатных, превыше тех, дома коих цвели благодатью Божией.

В конце зимы под охраной нескольких друзей и родственников, в Кану к Йешуа приехала его мать Мариам, женщина необыкновенная.

Маленького роста и нежного сложения, она сохранила на всю жизнь горячий и наивный блеск глаз — чёрных еврейских глаз, подобных тем, которые испокон веков сводили с ума чужеземных властителей. Видно было, что в молодости эта женщина блистала замечательной красотой. Сейчас ей было сорок семь или сорок шесть лет, в волосах её сверкала седина, но вдова Иосифа Плотника и на пороге последнего женского века поражала своею нежностью и миловидностью.

И при такой миловидной нежности Мариам отличалась могучим, несокрушимым сердцем, и её всегда переполняла любовь, не ведающая усталости. Терпеливая любовь.

Не только любовь к людям, но и любовь к овцам, коровам, ослам, особенно же любовь к ягнятам, телятам, осятам, верблюдкам, любовь к птицам, любовь к мотылькам, даже к цветам, деревьям, травам; короче, то была любовь ко всему, что рождается, растёт и умирает.

На первый взгляд, Мариам и её сын Йешуа Назорей ни в чём не были похожи друг на друга.

При втором взгляде можно было заметить, что глаза Йешуа похожи на глаза его матери.

И руки его были похожи на руки матери.

Наконец, услышав их речи между собой, поняв эту встречу требовательной любви Мариам и суровой нежности её сына, зоркий наблюдатель мог бы прийти к выводу: всё жизненное поведение Йешуа Назорея, его нрав, его душа — всё в нём происходило от этой хрупкой и негнижимой женщины, которая в сорок шесть лет оставалась такою же девочкой, как и тогда, когда седой Иосиф впервые услышал её песню и остановился на дороге...

Приехав в Кану и сразу же найдя дом Симона Зелота, где жил Йешуа, Мариам обняла сына, вышедшего ей навстречу, и после первых же приветствий сказала:

— Я привезла тебе побитого человека.

Йешуа повернул голову и увидел, как его двоюродные братья снимают с осла огромного рослого человека в

окровавленных лохмотьях; голова человека, обмотанная грязной тряпкой, болталась из стороны в сторону.

— Где ты нашла его, матушка?

— Он лежал без памяти на дороге, лицом к Кане Галилейской.

— Внесите его в дом, братья мои! — крикнул Йешуа.

Симон Зелот подошёл к нему, и пепельное лицо его сразу поразило всех присутствующих. Он стучал зубами и озирался.

— Что с тобою, Пётр? — спросил Назорей.

— Йешуа, я узнал его, — дрожащим голосом сказал Симон Пётр и проглотил слюну. — И ты тоже знал его ранее. Это араб, один из близких людей пророка Иоханана Предтечи.

Тень скорби омрачила лицо Назорея.

— Ты прав, — сказал он, взглянув на раненого, которого как раз вносили в дом. — Вели скорее принести чистой воды, я обмою его раны. Матушка, ты привезла те травы и корни, о которых я просил?

— Да, сын мой, вот мешок с этими зельями.

Мать и сын вошли в дом. На мгновение придя в сознание, араб стонал и бредил, когда с него срезали его лохмотья.

Йешуа обмыл его раны, смазал их своим желтовато-зелёным зельем и велел своим ученикам влить в рот раненому несколько капель пальмового вина. Араб поперхнулся и судорожно проглотил вино. Глаза его открылись вновь.

Он лежал нагой в тесной комнатке бедного еврейского дома, над ним склонялось заботливо-суровое лицо врача, у дверей жались незнакомые люди.

— Мир тебе, хаким! — прохрипел араб.

Он узнал гостя своего пророка.

— И тебе мир, брат мой!

— Я шёл к тебе, — шепнул араб.

— Ты пришёл, — ответил Йешуа. — Где Иоханан?

— Наби в руках злых. Шейх Антипа взял его.

Стон ужаса вырвался из уст всех присутствующих.

— А где же твой народ? — спросил Йешуа.

— Мои братья ушли в пустыню за три дня до этого...

Араб еле-еле говорил.

— Мы не чуяли беды... Наби тужил, но ничего не сказал нам... Мы не знали...

Йешуа положил руку ему на голову:

— Отдыхай, сын пустыни. Ты среди друзей.

Он вышел из дома.

— Пусть никто не беспокоит его, — сказал он. — Одному человеку надо сидеть рядом с ним и давать ему пить.

— Он будет жить? — спросила Мариам.

— Если на то будет воля Бога, — ответил ей сын. — Кости целы, только сломаны три ребра, и он потерял много крови. Сейчас ему нужен покой.

Йешуа повернулся к своим ученикам:

— Андрей и Фома, ступайте в Тибериаду. Нужно узнать, где Иоханан и какова его судьба. Из Тибериады не возвращайтесь сюда, в Кану. Ступайте в Капернаум, я буду там.

В тот же день Назорей со своей матерью и со всеми своими людьми, кроме Андрея и Фомы, оставил Кану Галилейскую и переселился на берег Геннисаретского озера, в город Капернаум. Больного араба он оставил в Кане до исцеления.

В Капернауме Учителя отыскивали Андрей и Фома по возвращении из Тибериады. Они лишь подтвердили то, о чём уже шумела вся Галилея: пророк был схвачен людьми тетрарха.

— Где он сейчас?

— В Махероне, о Учитель.

Махерон (то есть Меч) — так называлась неприступная крепость, поставленная, подобно стражнику, у самых границ Аравийской пустыни ради предупреждения набегов арабов-кочевников. Сильный гарнизон Махерона, его грозные стены и башни делали нереальной всякую мысль о том, чтобы вызволить пророка из узилища.

«Иоханан Предтеча схвачен! Иоханан в Махероне!» — разнеслось по всей Галилее и даже за её пределами.

Специальный конный отряд, посланный из Тибериады, захватил Иоханана на Иордане благодаря неожиданному нападению. Сторонники пророка, его «купальщики», остались зимой при нём в малом числе, около тысячи; после короткой, хотя отчаянной схватки тибериадский отряд рассеял людей пророка и

взял его самого. На месте разорённого лагеря осталось до двухсот трупов; нападающие потеряли не более тридцати человек.

Сирийский легат Вителий, секретно предупреждённый об этой важной операции и давший на неё согласие, выделил в помощь войскам тетрарха галилейского три центурии римских воинов, что считалось очень значительной силой.

Вся Галилея кипела, но разрозненные волнения укрощались силой оружия; к тому же известие об аресте пророка распространилось как раз перед началом пахоты, и земледельцы не бросили сохи.

Ненависть к режиму и к Идумейской династии повысилась ещё на несколько градусов, но глашатай этой ненависти томился в подземелье Махерона; не слышно стало голоса пророка, и владыкам Тибериады казалось, что в Галилее стало спокойнее. Так они уподобились неразумной птице пустыни, которая при нападении охотников прячет голову в песок и, не видя врагов своих, полагает себя в безопасности. На самом деле, их положение стало ещё более шатким: Вителий имел свои каналы информации и знал, как бурлит Галилея. Крупное восстание могло бы привлечь внимание Рима и повредить карьере самого Вителия. Поэтому он серьёзно обдумывал вопрос о смене власти в Тибериаде.

Араб, бежавший из Енона к Йешуа, выздоровел и тоже пришёл в Капернаум. Он застал в окружении Назорея нескольких своих друзей из людей Иоханана.

Йешуа как бы становился естественным продолжателем дела Предтечи. На нём лежал отблеск славы Иоханана. Кроме того, его уже окружала и собственная слава. Число его сторонников росло; появлялись новые люди.

В один весенний день очередной иудейский фанатик, приставший к молодому братству, корчась и пуская пену из рта, объявил, что Йешуа Назорей — это и есть сам Иоханан Креститель, Предтеча Мессии, а в Махероне сидит другой.

Йешуа отвернулся от безумца. Все эти слухи вызывали в нём только досаду. Но слухи расходились, как от камня, брошенного в воду.

Гигант-араб из людей Иоханана пришёл к Учителю мрачнее тучи.

— Иса Аль-Хаким! — сказал он. — Мне тяжело жить среди ваших гор без моего пророка. Отпусти меня к братьям моим.

— Ступай с миром, сын пустыни, — ответил опечаленный Йешуа.

И араб ушёл к своему народу. Он поведал братьям, что сам Иса Аль Хаким мудр и велик, однако его окружают безумцы.

По сей день в океане ислама живёт арабское племя мандеев, для которых величайшим пророком Господа остался Яхья Аль Наби, Иоханан, сын Захарии; того же, кого ныне зовут во всём мире Иисусом Христом, мандеи считают самозванцем.

Но Иисус Христос — вернее, Йешуа Машиах — сам никогда не называл себя «Машиахом», Мессией. Он ни разу не заявил, что происходит от царя Давида, как это заявляли многие самозванцы Иудеи и Галилеи.

Подобное самозванство было совершенно в обычае эпохи: политическая формула, некий пропагандистский приём — не более.

Йешуа Назорей всегда называл себя сыном Иосифа Плотника. Но уже в деревнях Галилеи старики, роаясь в вековых записях, выискивали предков Иосифа и возводили его родословную к царю Давиду.

Ведь Йешуа родился в Вифлееме Давидовом и жил в Египте. Недаром сказано пророком Осией: «От Египта воззвах сына моего».

Составленные уже сто лет назад и беспрестанно обновлявшиеся сводки пророчеств о приходе Мессии переписывались и ходили по рукам. Книжные люди вслух читали их толпам, и любой пастух знал наизусть пророков Израиля, предсказавших Мессию.

Вся их жизнь состояла в ожидании Мессии. Что мог поделать Йешуа против пламенной веры целого народа, искавшей свой предмет?

Он называл себя целителем, терапевтом, но ему не верили. От него ждали большего. Каждое слово его толковалось символически, каждая удачная хирургическая операция или исцеление душевнобольного провозглашались чудом.

Под давлением народного волнения он сделал решительный шаг. Вскоре после ареста Иоханана он начал

открытую проповедь своего учения — того самого, которое отчасти изложил Иоханану и отчасти Мардухаю из Вавилона.

И как раз в ту весну к Йешуа прибыл удивительный гонец. В Капернаум приехал связной от Иоханана.

Влияние пророка было так сильно, что даже охранники Махерона (из числа евреев) помогали ему тайно сноситься с внешним миром.

Гонец попросил у Назорея принять его без свидетелей.

— Иоханан шлёт тебе свою любовь, Йешуа, сын Иосифа.

Йешуа с почтением принял приветствие пророка.

— Иоханан спрашивает у тебя, о Йешуа: «Ты ли Тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»

— В третий раз! — прошептал Йешуа, погружаясь в задумчивость. — Господь не дал ему понять...

Он думал долго и не дал пророку никакого ответа. Ответа быть не могло.

Связной из Махерона остался в Капернауме, среди людей Йешуа Назорея. Этот красивый молодой иудей с огненными глазами, тонкими усиками и первой бородкой (звали его Иуда, обычное и распространённое имя), обладал врождённым даром располагать к себе сердца людей. Он всем нравился своим умом и весёлым нравом.

Один лишь Иоханан Ессей (кстати, тоже красавец) питал к Иуде глухую ненависть. И потомок Иссахара чувствовал это.

XI

И снова было тревожно в Тибериадском дворце.

Тетрарх поддерживал постоянную переписку с Иерусалимом и Антиохией. Он знал о каких-то необоснованных сомнениях Вителлия, о затруднениях префекта Понтия с самаритянами. В самой Тибериаде не было ничего утешительного. По ночам на стенах домов появлялись надписи, позорящие особу царицы Иродиады. Была совершена попытка отравления Эвбула Финикийца: он отделался сильным несварением желудка и казнил своего повара. Скорее всего, повар был невиновен. Может быть, и яда никакого не было, Эвбул — известный обжора...

Царствующая чета регулярно получала сведения из Махерона. Иоханан держался неукротимо в своём каменном мешке, и стража боялась его. Силы его не убывали: то ли, вопреки личному приказу тетрарха, его кормили лучше, чем он того заслуживал, то ли он и в самом деле привык обходиться почти без пищи. Тетрарха мучили сомнения и страхи.

Уже наступила весна, в этом суровом краю особенно чудесная. И в один из первых дней весны в Тибериаду пришёл Иуда, потомок Иссахара, посланный из Капернаума таинственным есеем Йешуа с поручением к одному из тибериадских друзей.

Недели не прожил Иуда в Капернауме, а ему уже доверялись секретные поручения. То, что он принёс привет из Махерона, служило наилучшей рекомендацией Иуде.

Он быстро выполнил поручение Учителя, но, прежде чем оставить Тибериаду, повидался с женщиной.

Он провёл ночь в загородной резиденции близ Тибериады, на ложе царицы.

Иродиада всерьёз влюбилась в молодого лазутчика. Она позволила себе увлечься тою жгучею страстью, которую всегда вызывают юнцы у много испытавших женщин.

— Мой возлюбленный, мой Адонис! — шептала она, мешая арамейский язык с греческим койнэ. — Как сильны твои объятия, как горячи поцелуи!

Раздуваясь от гордости, Иссахариот гладил её тяжёлую грудь, её пышные бока со складками, покрывавшими друг друга. На её смуглом идумейском лице словно горел пожар; тело её,

набелённое и покрашенное, источало обильный пот, и острый запах его смешивался с ароматами нарда и мирры. Они вместе пили вино и перемежали поцелуи обсуждением предстоящих интриг.

Под утро они выработали план новой операции.

— Ты выведешь Йешуа и его людей на караванную дорогу из Газы в дамаск; в сорока стадиях от Капернаума к югу есть развалины крепости, которую разрушил ещё Навуходоносор. Заведи их поближе к этим развалинам. Там будут ждать сорок воинов.

— Как мне выманить Назорея из Капернаума?

— Я снесусь с моими родственниками в Иерусалиме, дабы Йешуа Назорей получил приглашение от тамошних мудрецов приехать для прения о вере. Но он никогда не доедет до Иерусалима. Он исчезнет вместе с людьми его.

— Он исчезнет тайно?

— Он пропадёт, как песчинка в пустыне, и след его затеряется. Хватит нам хлопот с Лже-Илиёй. Пусть Галилея забудет врачевателя, оживляющего мёртвых. О времени мы сговоримся позже.

— Да будет так, царица.

— Не называй меня царицей, — шепнула она.

— Слушаюсь и повинуюсь, моя Астарта, — ответил Иуда Иссахариот, целуя Иродиаду.

Воспламенённая нежностью его голоса, она опрокинула его навзничь и села на него верхом. Гора сладкого смрадного тела, оплывающего белилами и румянами, возвысилась над юношей, и они вступили в последнюю любовную схватку.

Уже занималась розовая весенняя заря, когда Иуда, вновь переодетый аравитянкой, покинул виллу Иродиады.

В укромном месте он сбросил женский наряд и надел свою обычную одежду, а затем неторопливо отправился в сторону Капернаума. Утро было прекрасно, жизнь улыбалась Иуде.

Прежде, чем он вышел на дорогу к Капернауму, ему повстречался пышный кортеж: вооружённые люди сопровождали изящный паланкин, который несли огромные, неутомимые рабы — лектикарии. Кортеж направлялся к вилле Иродиады.

Когда разукрашенные золотом носилки проплывали мимо Иуды, пурпурная занавеска на миг отодвинулась.

Её приподняла маленькая белая ручка, охваченная в запястье золотым браслетом с зелёными драгоценными камнями, которые называются «кошачий глаз».

Иуда увидел внутри паланкина сонное полудетское личико с пухлыми губами, обрамлённое чёрными кудрями. Его поразила не только изумительная, весенняя прелесть этой девочки, но и то, что в лице её он заметил что-то знакомое.

Вдруг на прелестном личике распахнулись два глаза и ударили Иуду в сердце. У сонной девочки оказались глаза молодой тигрицы.

И он понял, что ему показалось знакомо в этом лице: девушка была похожа на Иродиаду.

Так вот она какова, царица Саломея!

Почему она пустилась в путь на ранней заре?

Занавеска паланкина упала; воин, ехавший верхом на муле, ударил засмотревшегося Иуду древком своего копья.

Иуда закрыл голову руками и кинулся прочь.

Несмотря на боль и страх, он усмехался. Если бы этот дурень в медной каске знал, откуда идёт ранний путник, которого он отогнал подальше от глаз царицы!

Но почему Иродиада так срочно вызвала свою дочь?

Он вспомнил, что ночью царица сердилась на Ирода Антипу, упрекая его в робости перед пленным Иохананом. Он вспомнил и то, что родственники Иродиады съезжаются в гости к тетрарху галилейскому.

По-видимому, ожидалось какие-то важные решения. Но какие?

Теряясь в догадках, Иуда шёл в Капернаум и вспоминал сонное личико в паланкине, красоту маленькой руки и зелёный отлив камней её золотого браслета.

В Капернауме он рассказал Учителю о выполненном поручении и о том, что Иродиада вызвала к себе дочь свою Саломею, с которой состоит в переписке.

Эвбула Финикийца пытались отравить, и он распял повара. Римляне больше не ходят по Тибериаде менее, чем всемером. На рынках передают вести от Иоханана. Узник подтверждает, что час

уже близок, что Мессия скоро явится, что он, быть может, уже
пришёл.

Через неделю стало известно, что тетрарх Ирод Антипа с женою и двором отправился в поездку с целью инспекции пограничных крепостей. С ним едут гости; его сопровождает войско.

ХII

Наступила весна; воркованье голубей будило по утрам маленький захолустный Капернаум. На скамье у дверей низкого дома, в редкой ещё тени старой смоковницы, сидел Йешуа, сын Иосифа. Два маленьких мальчика устроились у него на коленях, два других прилепились к нему по сторонам; Йешуа рассказывал им сказки и напевал шуточные песни. Несколько нищих, сидя поодаль, не сводили с него глаз. Женщины, проходя с кувшинами за водой, с почтением приветствовали Назорея.

Звон бубенцов раздался на улице; всадник на муле ехал со стороны городских ворот и расспрашивал, где живёт Йешуа Назорей. Всаднику тотчас указали на низкий дом и скамью у ворот, где дети, с пальцами в устах, упивались сказкой красивого человека с чёрной бородой и длинными волосами.

Удивлённый всадник сошёл с мула и неспешно приблизился. Йешуа, окончив сказку, ссадил мальчиков с колен и поднялся навстречу незнакомцу. Тот отвесил низкий поклон.

— Мир тебе, мудрый человек.

— И тебе мир, странник. Будь моим гостем.

— Увы, мудрец, я прибыл к тебе только гонцом, и мне велено скорее возвращаться обратно.

— Тогда скажи, в чём твоё послание.

— Я приехал по просьбе моего брата, он живёт в Магдале. Брат мой богат и знатен, а в доме его живёт женщина, которую он любит, как свою собственную душу. Полгода назад эта женщина начала грустить и плакать, а с недавних пор впала в буйство и сделалась словно бы помешанной. Мы боимся, это в неё вселились бесы... Если бы ты, о Назорей, сумел изгнать из неё бесов, то — мой брат человек богатый — мы могли бы...

Йешуа сделал ласково-небрежный жест, и вестник в смущении умолк и опустил голову.

— Зачем ты сулишь мне награду, человек из Магдалы? И почему вы с братом не привезли одержимую сразу ко мне? Ты что-то скрываешь от меня...

— Это правда, господин мой! — смущённо проговорил вестник. — Большая женщина прежде жила в Иерусалиме, где не блюла своей чистоты, и оттуда ей пришлось бежать на родину, в

Галилею, потому что её обвинили в богохульстве. Ты человек святой жизни, а мы...

— Кто обвинил её?

— Молодой и богатый купец из колена Вениамина, известный своею склонностью к вину и веселью. Он домогался её любви, она же прогнала его.

— Значит, эта женщина не была так уж дурна. Как её имя?

— Мариам.

— Привезите её завтра после полудня.

Они распрощались, и вестник, напоив мула, тихим шагом отправился обратно в Магдалу — один из городов на берегах Геннисаретского озера.

Йешуа в задумчивости вошёл в дом. Женщины готовили обед, пахло кухонным чадом; ученики Назорея, собравшись на крыше дома, спорили о вере и размахивали руками. Только молодой ессей Иоханан не принимал участия в прении: вертя в руке цветок, он другою рукой развёртывал какой-то дряхлый свиток. Ничто вокруг — ни птичий грей, ни крики его сотоварищей — не мешало Иоханану читать книгу. Он умел среди мира замыкаться от мира.

Симон-Пётр, сверкая глазами, наступал на Иуду: он цитировал Предтечу и настаивал на близости великих потрясений. Красавец Иссахариот с тонкой скептической улыбкой на губах опровергал все запальчивые тезисы Зелота и ловко играл изящными аргументами. Остальные разделились за Симона и за Иуду.

Йешуа, человек дела, не любил подобных споров.

На следующее утро после полудня небольшой караван прибыл в Капернаум и остановился перед домом Йешуа. Молодой человек в богатой одежде, преждевременно располневший и очень печальный, сошёл с мула и почтительно приветствовал Назорея.

— Меня зовут Товия, сын Исаака, — сказал он, — и я привёз к тебе несчастную Мариам. Я знаю, ты не хочешь брать денег за лечение, но я привёз для тебя и твоих учеников немножко мяса, хлеба и фиников. Прими их в дар, святой человек.

Простота богача понравилась Назорею. По его знаку ученики помогли невольникам Товии разгрузить ослов; половину даров Йешуа приказал тотчас отдать беднякам Капернаума. Между

тем, брат Товии высадил из закрытых носилок молодую женщину с бледным лицом, которая мигала и щурилась от солнца. Сам Товия, сын Исаака, стоял в стороне, спиной к женщине, и на лице его Йешуа явственно читал сокрушение.

— Введите её в дом! — сказал Йешуа.

При звуках его голоса женщина дёрнулась и подняла голову, но тотчас брат Товии и трое невольников схватили её и силою повлекли её в дом; задрав голову и по-собачьи оскалив зубы, она вдруг завизжала и пронзительно залаляла.

— Я вижу, Товия, твой вид несносен ей, и ты стараешься не попадаться ей на глаза, — заметил Йешуа.

— Да, это правда, — печально ответил Товия. — Сможешь ли ты исцелить её?

— Смогу, — ответил Йешуа, — но она не вернётся к тебе.

— Почему же? Ведь я так люблю её.

— Потому что её болезнь — одной природы с твоею любовью.

На глазах Товии показались слёзы, но он сдержал их.

— Я чувствую, что ты говоришь правду, мудрец, — прошептал он.

— Её мучат бесы злой любви. Я изгоню их, но она, будучи здоровой сама не захочет к тебе вернуться.

— Ты сделаешь её своею наложницей?

Йешуа медленно улыбнулся.

— Неужели ты думаешь, что у меня нет иных дел, кроме любовных утех с женщинами? — с бесконечным терпением спросил он.

— Прости меня, добрый Назорей, я сказал не подумав.

Товия провёл пухлой ладонью по своему доброму, капризному лицу и со вздохом решил:

— Изгони из неё бесов, и пусть будет, что будет.

— Ты добр, Товия, — сказал Йешуа, — но всё же надеешься, что по исцелении она возвратится к тебе.

Маленькие глазки Товии испуганно уставились на Йешуа. Товия покраснел и ничего не ответил. Он впервые почувствовал на себе удивительную силу человека, читающего мысли других людей.

Не сказав Товии ни слова больше, Йешуа повернулся и вошёл в дом, где слышались дикие крики женщины, одержимой бесами.

— Приготовьте мне кувшин холодной воды, женский гребень, чистый плат или два, — сказал он женщинам своего дома.

— Так, может быть, и зеркало? — спросила вдова Мариам, мать Назорея.

— Нет, зеркало не нужно, — ответил он матери. — Зеркало может напугать её и совсем свести с ума. Позаботьтесь о том, чтобы никто не приближался к комнате, пока я буду с бесноватой.

Он вошёл в комнату, где брат Товии и его невольники крепко держали бесноватую Мариам, которая билась и кричала в их руках.

Йешуа взял со стола горящий светильник и приблизился взглянуть на женщину. Она была одета с безумной яркостью, разукрашена массой дешёвых украшений, среди которых, однако, попадались и подлинные драгоценности. Зубы её были оскалены, глаза полузакрыты, пышные и густые волосы в беспорядке металась и вились вокруг лица, исцарапанного до крови ногтями.

Её волосы казались чёрными, но Йешуа различил в них красивый медный отлив: очень тёмные рыжие волосы.

— Где вода? — крикнул он.

От его крика бесноватая Мариам забилась ещё сильнее.

— Несу, сын мой, — ответила мать Назорея.

Она вошла с кувшином, а Саломея, мать Андрея и Симона, принесла гребень и полотенца.

— Несчастная женщина! — тихонько сказала вдова Иосифа, разглядывая бесноватую. — *Как она дурна!*

Мариам из Магдалы услышала этот полушёпот и жалобно завывала.

— Теперь ступайте все прочь, — сказал Йешуа. — Оставьте меня с этой женщиной и не мешайте мне. Пусть никто не входит и не заглядывает сюда.

Не без удивления приездие из Магдалы выпустили свою больную и вышли вместе с Мариам Вдовой и Саломеей, вытирая пот со лбов и тихонько переговариваясь между собой.

Йешуа остался наедине с Мариам из Магдалы. Она покатила на пол и забилась в судорогах; крики, вой, лай

непрерывно изливались из её уст. Вдруг Йешуа схватил кувшин с водой и до половины выплеснул его в лицо Мариам.

Тотчас наступила тишина. Женщина медленно уселась на полу, тряся мокрыми волосами и ошеломлённо глядя на Йешуа.

— Какой красавец! — хрипло сказала она, словно впервые увидела его. — Откуда ты пришёл?

Её жуткий белый оскал на потемневшем, расцарапанном лице превратился в плутоватую усмешку, не лишённую даже приятности. Весьма спокойно подняв руки, она взялась за своё платье, резко разорвала его и оголилась до пояса. Тело её, несмотря на болезненную худобу, всё ещё поражало правильностью пропорций, грудь была крепкая, совершенно девичья, с тёмными и мохнатыми сосками.

Йешуа взял полотенце и стал крепко вытирать её волосы. Он не глядел на неё и, казалось, думал о чём-то своём. Ошеломлённая женщина сидела тихо; она закрыла глаза и словно дремала.

— Ай! — вскрикнула вдруг она. — Ты делаешь мне больно!

Голос её звучал по-прежнему хрипло, но удивительно тоненько и звонко, словно голос маленькой девочки.

— Нужно вытереть волосы насухо, дочь моя, — спокойно ответил Йешуа, глядя по-прежнему поверх её головы и повторяя свои мерные движения.

Опять наступило молчание, затем Мариам открыла глаза:

— Они уже сухие.

Йешуа отложил плат и дал ей в руки гребень:

— Причеши свои волосы, дочь моя.

Она принялась расчёсывать волосы, старательно и неумело, как малое дитя. Гребень застревал в её роскошных, но дико запутанных космах. Вдруг она капризно пролепетала:

— Не хочу чесать волосики, пусть меня причешет матушка.

— Ты же знаешь, — строго ответил Йешуа, — что матушка ушла в сад и вернётся только к вечеру.

Обиженно сопя, Мариам продолжала причёсываться. Постепенно движения её замедлялись, она словно дремала... Йешуа сел на скамью Мариам, уронив гребень и откинув голову,

мутно посмотрела на него из-под влажных полуопущенных ресниц.

— Отец, — сказала она, — возьми меня на колени.

Он важно протянул к ней руки, принял и усадил на колени. Мариам съёжилась, стараясь занять как можно меньше места, обвила рукой его шею, а другой рукой взяла его за бороду и стала перебирать её вялыми пальцами.

Тихим, низким голосом он запел колыбельную песенку. Сонно улыбаясь, женщина потёрлась грудью о его грудь. Она просто почесалась: оба не замечали её наготы. И как только она это сделала, соски её совсем увяли, возбуждение полностью оставило её.

— Ты не сердись на меня, отец? — пробормотала она.

— Нет, дитя моё, — легко и безразлично ответил он. — А за что мне на тебя сердиться?

— Я не помню, — ответила она слабым шёпотом.

Йешуа продолжал напевать, но всё тише и тише. Потом посмотрел ей в лицо и умолк. Мариам крепко спала.

Осторожно подняв её на руки, он вынес её в соседнюю комнату, которая служила спальней для женщин. Обе вдовы, Мариам и Саломея, вскочили при его появлении. Движением бровей он приказал им молчать.

Втроём они уложили спящую на мягко застланное ложе, накрыли её и отошли на цыпочках.

— Она будет спать долго, — прошептал Йешуа на ухо матери. — Поставьте в изголовье её цветов в кувшине с водой, лучше всего лилий. Когда проснётся, ни о чём её не спрашивайте и займите не слишком тяжёлой работой.

— Что ты с нею сделал, сын мой?

— Я вернул её обратно в детство, когда она не знала греха.

— Зачем?

— Грех и стыд — причина её болезни. Я думаю, этот добрый толстяк Товия из Магдалы поил её вином с шафраном, которое горячит кровь, и она предавалась ему без любви. В ней поссорились тело и душа.

— Так значит, она — дитя? — спросила Мариам, вдова Плотника.

— Да, матушка, она дитя, но это скоро пройдёт. Однако она сохранит навсегда отвращение к греху и лжи.

— Ты изгнал бесов?

— Изгнал, матушка. С нею это оказалось легче...

Мариам снова подошла к ложу, на котором покоилась её соименница. На лице спящей застыла удивлённая улыбка, ровные дуги бровей высоко поднялись. Она дышала тихо и ровно.

— *Как она хороша!* — шепнула Мариам.

Йешуа Назорей вышел из дому. Товия и его брат, сидевшие в тени старой смоковницы, тотчас вскочили на ноги.

— Она спит, — сказала им Йешуа.

— Спит? — поразился Товий. — Она не спала семь дней.

— Она спит и будет спать долго. Хотите взглянуть на неё? Обещайте не говорить ни слова.

Он ввёл их в покой, где безмятежно спала Мариам Бесноватая. При виде её улыбающегося и уже порозовевшего лица Товия в немом изумлении воздел руки. Мать Йешуа без церемоний прогнала мужчин.

— Это чудо! — воскликнул Товий, оказавшись на улице. — Она свежа и чиста, как семилетний ребёнок!

— Запомни, добрый человек, ты видел её в последний раз! — сказал Йешуа. — Не пытайся встретиться с нею вновь, ибо если бесы снова овладеют ею, она убьёт тебя. Отыди с миром, и Господь воздаст тебе.

— Так я и сделаю, — отвечал Товий.

Люди из Магдалы с видом глубочайшего почтения простились и уехали домой.

Йешуа сказал матери:

— Я чуть не забыл ещё одно: нельзя, чтобы она проснулась в темноте. Пусть в спальне всегда горит светильник. Ей нельзя пугаться. Я оставлю её на твоё попечение.

— Ты уходишь?

— Мы пойдём по всей Галилее нести людям слово истины. Иоханан в Махероне: нужно или вызволить его, или заменить.

— Когда мне ждать тебя?

— Не тревожься, я пошлю тебе вести с дороги.

Он обернулся к подошедшему Симону:

— Где мой посох?

ХІІІ

И снова Йешуа со своими учениками обходил Галилею. Слава шла впереди него. У Галилеи нашёлся новый пророк.

И о нём тоже много спорили, как и об Иоханане, сидевшем в темнице Махерона. Иродиане и просвещённые городские жители, проводя время в цирке или термах, много спорили о новой народной знаменитости. Они сходились на том, что Йешуа Назорей — очень искусный врач, который напрасно вмешался в политику.

Народ видел в нём уже не просто врача, а чудотворца. Арабы, которых тогда много жило в Галилее, называли Йешуа ещё одним пророком Божиим. Самые крайние zelotim, беглецы из Енона и фанатичные поклонники Иоханана Предтечи, клялись и божились, что Йешуа — это и есть Иоханан, а в Махероне сидит Эрмий, беглый воин из войска тетрарха галилейского; говорили, что во время внезапного захвата Енона Эрмий, спавший у порога чёрного шатра пророка, был ошибочно принят за него и схвачен, сам же пророк спасся: он-то и проповедует под именем Йешуа.

И совсем уже тихо, робко, неуверенно расползался безумный слух, что Йешуа из Вифлеема — это и есть Мессия, предсказанный пророками. Над этим слухом посмеивались, а сторонников Йешуа Назорея он просто сердил. Многие уже знали Йешуа, многие ели и пили с ним, слушали его притчи и загадки: ну, какой же он Мессия? Это наш человек — простой галилеянин.

Эллины, тоже жившие в Галилее, держались нейтрально, осмеивали рассказы о воскресениях мёртвых и ставили под сомнение происхождение чудотворца именно из города Вифлеема; утверждали, что этот врач родился где-то в Галилее, что его отец был в том возрасте, когда уже боги не даруют детей, а мать была опасно хороша собой... Но эти фривольные намёки были возможны только между эллинами, да и то вполголоса: евреи за такие слова могли и рёбра переломать, а то и свернуть шею (смотря на кого попадётся). Даже иродиане не смели произносить таких шуток.

А Йешуа обходил Галилею. В любом городе или селении для него и его учеников находился кров, сыр, хлеб и финики. Более он ни в чём не нуждался. Денег у него никогда не было.

Утверждали, что он никогда не держит их в руках, не прикасается ни к золоту, ни к серебру. Это было выдумкой, он не боялся прикасаться к деньгам и не давал обета избегать золота. Он просто не нуждался в деньгах. Этот вечный гость всюду обходился малым, а потому и не знал ни в чём недостатка.

Однажды в горах Галилеи он и его спутники сбились с дороги и заночевали с пастухами. Ученики Назорея собрались у костра, Йешуа лёг чуть поодаль, глядя на звёзды. Ему почему-то вспомнился Мардохай Вавилонянин, этот странный мудрец, ставивший звёзды превыше Бога. Кажется, Йешуа посеял сомнения в душе забавного этого звездочёта. Затем он неожиданно подумал, что Симон Кананит томится и скучает: он любит опасность, ему не хватает тайны и риска. Нужно будет послать его в Иерусалим... С нежностью подумал об Иоханане, своём названом брате-есее: мальчик растёт, мужает, у него светлый ум. И с этими мыслями Йешуа уснул.

В ту ночь ему приснился удивительный сон.

Ему снилось, что он маленький ребёнок, младенец, едва начавший ходить; он ещё не умеет говорить, но всё видит и понимает. Он сидит под пальмой и играет в песочке, а мать его печёт лепёшки, хлопоча у очага под навесом. Отец ещё не построил дома, но в это время года сойдёт и навес. Небо наверху бледно-голубое, словно разморённое жарой, как человек; за Нилом виднеются пирамиды. Там Запад, там смерть, там зло.

А здесь хорошо, здесь тень от пальмы и мягкий песочек. Мать близко, уже пахнет горячими лепёшками, мать разжует лепёшку и даст ему, хотя он мог бы жевать и сам, у него уже растут зубки. Но пусть будет так, как хочет она, милая, добрая и родная.

Йешуа играет и видит, как идёт к воде девочка из селения с кувшином на голове. Эту девочку он знает, она добрее других язычниц, и вчера дала ему цветок. На шее у неё бусы, цветные камушки; девочка уже большая, её бедра шире плеч, а руки сильны и толще, чем у матери Йешуа. Сын деревенского писца часто останавливает эту девочку и подолгу разговаривает с ней, но она не любит его и потихоньку смеётся над ним с подругами, она любит Йешуа, хотя он — ребёнок пришельцев и обрзан по

обычаю его веры. Она любит маленького Йешуа, потому что вчера она дала ему цветок.

Вот девочка раздевается, чтобы не замочить одежду, и входит в Нил набрать воды почище: у берега она слишком илистая.

Наполнив кувшин, она выносит его на берег и ставит под пальмой, до половины зарыв в песок. Йешуа смотрит, как вода течёт по её гладким бёдрам и смуглым ногам.

Девочка решает ещё раз зайти в Нил и искупаться.

И тут Йешуа видит, как в реке всплыли шаровидные глаза крокодила, старого убийцы, укравшего козу его матушки.

Йешуа бежит за девочкой и ловит её за ногу, чтобы остановить.

— Чего тебе, маленький еврей? — спрашивает она.

Он открывает рот, что-то кричит, указывает на реку и машет ручками.

— Нет-нет, не проси, — отвечает девочка, — я не возьму тебя купаться.

Он кричит ещё отчаяннее, но она не понимает его. Со смехом она входит в воду и плывёт.

Из Нила показывается длинное зеленоватое тело; девочка заметила его, в ужасе бросается к берегу... Она уже по пояс вышла из воды... Но старый убийца плывёт быстрее. Ударом всего тела он сбивает её с ног: Йешуа видит её открытый рот, её мелькающие руки и раскрывающуюся пасть крокодила. Он плачет взахлёб, и на его плач бежит испуганная мать.

— Что с тобою, свет моих очей? — спрашивает она на бегу.

Он показывает ей на реку и отвечает сквозь слёзы:

— Злой старик поймал мою девочку.

Мать закрывает ему глаза ладонью, но он успевает увидеть, как крокодил, уволакивая девочку, выедает у неё грудь.

— Иосиф, Иосиф, горе! — кричит мать

Отец спешит на зов, а с ним огромный и могучий человек в верблюжьем плаще, опоясанный толстым ремнём; он держит в руках крепкую заострённую палку.

Большой человек вбегает в воду, хватая крокодила, разрывает ему пасть и втыкает в глотку острую палку. Но девочка уже мертва, и человек выносит из Нила обезображенное тело.

— Иоханан, ты убил крокодила! — в ужасе говорит мать Йешуа.

И хор гневных, обвиняющих голосов вторит:

— Презренный еврей, ты убил крокодила!

Толпа язычников с мечами и копьями наступает на Иоханана. Он мог бы ответить им, что спасал их же девочку, но он не говорит ничего, только с глубоким презрением смотрит на них.

— *Еврей убил крокодила!* — кричат уже тысячи голосов.

И тут выходит сам фараон с боевой секирой, в золотой одежде. С ужасной злобой смотрит он на Иоханана.

Мать хватает Йешуа на руки, отец бросает лепёшки в свою суму, и они бегут, но Йешуа, глядя через плечо матери, видит, как фараон отрубает голову Иоханану.

— Мама, мама! Они убили его!

— Бежим, Иосиф, бежим! — кричит мать

Но уже ночь, уже поздно, мать сидит на осле и держит Йешуа; Она разжёвывает лепёшку и кладёт ему в рот. Иосиф, сидя впереди, спрашивает:

— Мариам, когда он начал говорить?

— Только сегодня — и сразу так чисто, понятно.

— Злой старик украл мою девочку, — бормочет Йешуа сквозь слёзы.

— Жалость научила его говорить, Иосиф.

Йешуа глотает мягкую жвачку и дремлет, покачиваясь в объятиях матери на спине осла. Он всё ещё видит зеленоватого крокодила с зубами, как ножи; фараона, блистающего золотом и с поднятой секирой в руках; красную от крови воду возле берега.

То была кровь девочки, хлеставшая из переёденной шеи, а с нею смешивалась кровь Иоханана, а голова его откатилась и упала на руку мёртвой девочки, а кровь его текла в Нил и смешивалась в Ниле с её кровью.

— Он уже спит, — говорит Мариам.

— Мы скоро придём, — отвечает Иосиф. — Я вижу дом моего брата.

И маленький Йешуа заснул.

А теперешний — проснулся.

Он поднял тяжёлую голову и затуманенным взором обвёл стадо, догорающий костёр, спящих на земле учеников и старого пастуха, который спал, опираясь на палку.

Йешуа с трудом поднялся, провёл ладонью по лицу и с изумлением обнаружил, что ресницы его влажны. Он лизнул свою ладонь — соль.

Неужели он плакал во сне?

Подойдя к пастуху, он тронул его за плечо. Тот сразу открыл чуткие глаза.

— Ты ничего не слышал, брат мой?

— Ничего, Йешуа. Только под горою кричали шакалы, будто радовались чему-то.

— А ты ничего не видел?

— Ничего, Йешуа. Только большая звезда упала час назад во-он в той стороне.

И пастух показал палкой на юго-восток.

Назорей поник головой и приблизился к спящим.

— Андрей! — позвал он.

Рыбак приподнял голову и опять уронил её.

— Пётр!

Зелот забормотал сквозь сон:

— Бегу, бегу, держитесь, отобьёмся...

И лицо его во сне приняло упрямое выражение.

— Иуда!

Красавец Иуда, единственный иудей среди всех этих галилеян, пошевелил головой и во сне поцеловал воздух.

— Иоханан!

Юноша-ессей медленно поднялся и сел, не открывая глаз.

— Варфоломей, Фома, Иаков! — крикнул Йешуа. — Вставайте все! У нас горе!

И когда они поднялись с бестолковыми восклицаниями и сбились к нему, как испуганные овцы к пастырю, Йешуа сказал:

— Час назад в Махероне убит пророк Божий.

Через три дня об этом узнала вся страна.

XIV

Да, Иоханан Предтеча был казнён в Махероне.

После его пленения, получая отовсюду вести о сильном возбуждении народа, тетрарх долго колебался и не мог принять никакого решения. Иродиада, горевшая жаждой мести за все свои унижения, требовала головы Иоханана, но Антипа упрямился.

Жена была всё же сильнее его. Вместе со своей роднёй, используя любые средства, она оказала сильнейшее давление на Антипу.

В разгар пира, разгорячённый вином и возбуждённый пляской Саломеи, своей внучатой племянницы, Антипа сказал юной красавице:

— Проси у меня, чего желаешь

И прелестная отроковица, ещё тяжело дышавшая после пляски, горделиво пролепетала:

— Голову Иоханана!

И тетрарх волей-неволей сдержал своё слово. Голова Иоханана на серебряном блюде украсила стол пиршества.

Ужас охватил Галилею.

Народ облачился в траур и посыпал пеплом голову. Но не ударил гром с небес, не затряслась земля, и Бог сохранил опять своё таинственное молчание.

— Теперь я пойду в Иерусалим! — сказал Йешуа, сын Иосифа.

Час его наступил: он должен выполнить то, о чём говорил с Иохананом. Пора!

— Ещё рано, Учитель! — сказал Иуда Иссахариот. — Время ещё не пришло.

И его поддержал Симон Пётр, который сохранил свои прежние связи с зелотами и знал о планах восстания в Галилее.

Этот кровавый ревнитель справедливости мечтал самолично отомстить за смерть Иоханана, вырвать сердце Ирода Антипы, отдать на съедение псам Иродиаду. А на престол Галилеи и Переи можно возвести Йешуа. И уж тогда — пойти войной на Иерусалим.

Йешуа размышлял. Он чувствовал, что он прав.

Вскоре после казни Иоханана он послал Иуду, самого ловкого из своих учеников, к Матфею-мытарю в Тибериаду.

Тетрарха и его жены не было в их столице. Однако Иуда отыскал знакомого внуха Иродиады и велел ему передать госпоже один вопрос:

— Не время ли?

Ответ нашёл его через месяц.

Йешуа со всеми своими учениками проходил через одно галилейское селение, в день рынка — четверг.

Друзья купили им снеди, сельские жёны принесли воды, и всё братство располагалось для трапезы на краю селения, когда появился кривой бродяга с наглой улыбкой, одетый в драную эллинскую одежду.

Андрей хотел отогнать его камнем, но бродяга уверил, что он правой веры; подбежав к Иуде Иссахариоту, он потянул его за рукав:

— Эй, красавчик, купи для своей милой! Дёшево отдам, не пожалеешь!

Он подмигнул единственным глазом и сунул в ладонь Иуды греческую камею.

— Небось, ворованная? — спросил Иуда.

— Через семь дней у старой крепости на дороге в Дамаск, — шёпотом ответил кривой. — Зачем обижаешь, красавчик? Я ворованным не торгую!

Тут Иуда рассмотрел на камее рисунок: объятие Адониса и Астарты.

— Собака! — загремел он. — Как смеешь ты предлагать мне такую мерзость? Прочь от меня!

Он подмигнул кривому и замахнулся на него палкой. Бродяга, очень испугавшись, бросился наутёк. Камею, однако, он успел выхватить из рук Иуды. Дело делом, но не пропадать же добру.

Иуда присоединился к друзьям, страшно возмущённый. Но с этого дня он склонился на сторону тех, кто поддерживал иерусалимский проект. Симон Зелот остался в одиночестве.

И дело было решено. Йешуа известил свою мать и всех друзей. Он уходит в Иерусалим.

Перед этим он снова ушёл в горы, где пастухи нашли для него обширную и сухую пещеру. Здесь он молился, принимал вестников и собирал своих друзей.

Незадолго до срока он взошёл с ними на гору.

Тысячу лет назад
Историческая повесть

Глава I. Князя и кесаря

В 969 году опочила великая княгиня Ольга, и отпели её греческие попы, ибо была она христианкой, а сын её Святослав справил по ней богатую тризну, ибо он поклонялся славянским богам и «жрал им» (то есть приносил им жертвы).

Он происходил из варяжской династии, но первым из Рюриковичей носил славянское имя. Отца его звали Игорем (вернее, Ингваром), деда Олегом, пращура Рюриком; всё это имена варяжские, скандинавские, как и Ольга. Сам же князь звался славянским именем Святослав, варяжского языка почти не знал и любил славянский обычай.

Как у всех знатных руссов, у него было несколько жён и наложниц, которые нарожали ему не один десяток детей.

В год смерти матери он совершил величайший подвиг своей бродячей и воинственной жизни — завоевал болгарское царство на Дунае. Храбрые болгары постоянно тревожили греческие пределы, и кесарь призвал Святослава на помощь против них.

Киевский князь побил болгар и сел в их стольном городе Преславе. Ему понравились и земля, и Дунай, и Преслав; он решил не уходить отсюда.

— Хочу жить в Переяславце на Дунае, — сказал Святослав своим боярам. — Там середина земли моей, туда стекается всякое добро: от греков золото, шелка, вина, плоды, от чехов и угров — серебро и кони, от Руси — меха, мёд, воск и рабы.

Греки были в растерянности. Опасными соседями были болгары, но сто крат опаснее было соседство Святослава, великого воина, о котором сто языков пели песни, слава его победы над хазарами, вятичами, болгарами, ясами и касогами. Его именем пугали детей от дремучих лесов Севера до снежных вершин Кавказа:

— Не плачь, докучный, не плачь, глупый, а то придёт великий русс и заберёт тебя в полон! Не плачь, Святослав услышит!

А в великом Царьграде, который у греков назывался Константинополь, как раз в 969 году воцарился новый кесарь — лукавый Иоанн Цимисхий. Встревоженный успехами Святослава и его намерением осесть на Дунае, царь греков тайно натравил печенегов на Киев.

Загоняя коней, гонцы мчались на Дунай со злою вестью. Получив её, Святослав со своею дружиной оставил Преслав и огромными переходами двинулся обратно к Киеву. Он не брал в походы ни котлов, ни шатров, сам спал под открытым небом, подстлав под себя чепрак и положив в головах седло, а ел конину или зверину, испечённую на углях. Он ходил легко, как барс.

Печенеги осаждали Киев, и в городе было стеснение, хлебная нехватка и страх, когда передовые дозоры Святослава увидели дымы над печенежским станом.

Всем была известна быстрота передвижений Святослава, и всё же ханы не поверили, что он уже пришёл. Но прискакал русский гонец и бросил к порогу ханского шатра связку стрел.

— Эй, люди набольшие печенежские! — зычно закричал он, чтобы слышала вся орда. — Святослав послал меня сказать, что идёт на вас!

В тревоге поднялись печенеги, собрали всю свою силу, сняв осаду с Киева, а к вечеру русская дружина уже ввязалась с ними в бой.

Когда печенеги узнали в бою самотканную белую рубаху Святослава и его бритую голову с длинным чубом на макушке, сверкавшую, как медь, то мужество изменило им. Тою же ночью они бежали обратно в свои степи. Святослав послал за ними погоню на свежих конях, а сам въехал в свой ликующий Киев.

Но он не собирался засиживаться в Киеве, его тянуло обратно в Переяславец, как он называл Преслав. Собрав больших людей на совет, он устроил управление и положил уговор, как им править Киевской державой в его отсутствие.

От Преслава до северных рубежей его державы лежал огромный путь, и потому Святослав поставил в Новгород княжить своего сына Володимира. То был 970 год.

Володимир родился от наложницы, но он был самым удачным из сыновей. Святослав знал: Володимирко не подведёт,

уследит за чудью и вятичами, новых земель не завоюет, но свои все оборонит.

— Володимирко в счёте смышлён, — говаривал о нём отец, — у него ни одна куна не пропадёт. Кому же ладить с новгородскими гостьми, как не ему? Меня они обманут, а Володимира нипочём.

В 970 году он снова отправился на Дунай и вступил в борьбу с Иоанном Цимисхием. Вновь меч Святослава сверкал, как перун, в славных битвах, вновь трепетали перед ним греки. Но Киев был далёк, и падали вокруг Святослава его гриди, и таяла дружина, и война становилась всё тяжелее. Наконец, войско кесаря одолело, и впервые пришлось Святославу испытать полную чару поражения, что горше полыни и жёлчи. Скрепя сердце, он заключил мир с кесарем и отдал ему дунайскую Болгарию, в лето 971-ое от рождества Христа, как считают время греки.

С невесёлыми думами Святослав возвращался в Киев. Надо было заново собирать силы. Мало осталось от его дружины, да и эти немногие были измучены боями либо изранены. Плыли в ладьях, подымаясь по Днепру; в степи мчались всадники, неся ханам весть о возвращении разбитого Святослава, а другие, скача низким берегом, сопровождали издали усталый речной караван.

— Пришёл час расплаты! — решили печенежские ханы.

Они принесли жертвы своим тенгриям (духам) и с отборным воинством кинулись к днепровскому волоку.

Святослав, поднявшись до порогов, вытащил на сушу свои ладьи. Но когда его отроки поволокли ладьи, из засады бросились на них печенеги. В короткой, неравной сече полегли русские гриди и отроки. Великий хан подскакал к месту последней битвы. Десятки мёртвых печенегов лежали вокруг Святослава, а ещё больше ползали и стонали вокруг, истекая кровью.

Святослав лежал посередине их, сжимая в руке сломанный меч. Семь стрел торчало из его могучего тела, голубые глаза его были открыты, но он умер.

Хан спешил, обнажил свою кривую саблю и отсёк голову страшного врага. Он схватил длинный чуб Святослава и высоко поднял его голову: князь Киева глядел на него, и серьга блестела в ухе Святослава. Восторженно завопили печенеги, потрясая саблями.

Так в 972 году у днепровского волока погиб величайший воин Руси. Хан печенежский по степному обычаю сделал чашу из черепа Святослава, оправил её в золото и пил из неё на пирах.

Восплакала Русь, и началась в ней смута. Передрались княжичи из-за киевского стола, брат поднялся на брата. Но Владимир с новгородцами в конце концов одолел. Убив своего брата, он в 978 году взошёл на княжий стол в Киеве. Он снова объединил всю Русь, и смута кончилась.

Многие на Руси были недовольны.

— Кто княжит, кто владеет нами? — с негодованием вопрошали на торжищах. — Прежде звался сыном робы, а ныне Владимир стольно-киевский!

Да, он был «сыном робы» (рабыни), но хитростью, умом и волей превосходил всех других Святославичей.

Дарами и лаской объединил он вокруг себя лучшую чадь, вернул из забвения самых мудрых советников своей бабки Ольги и устроил в державе порядок и мир. В отличие от своего отважного отца, Владимир не стремился на Дунай, а укреплял своё киевское наследие.

На южных рубежах своей земли он понастроил крепостей для защиты от Поля, и трудно стало печенегам ходить на Русь. Он обнёс и Киев новыми укреплениями, украсил его каменными домами.

— Ай да робёнок! — говорил киевляне. — Откуда научился владеть и править? Кто ему ворожит и волхует?

Князь ведал, что его всё ещё называют «робёнком» (то есть маленьким рабом). Более всего ему хотелось, чтобы Русь забыла его низкое происхождение. Начав единодержавно княжить в Киеве, он постарался снискать любовь волхвов, которые имели сильную власть над славянскими душами и умели «кудесить» (делать чудеса). В 980 году он решил создать на холме возле своего белого терема великое требище для всех славянских богов.

Русь молилась разным богам, ставила их деревянных кумиров в высоких оградах, но под открытым небом: храмов Русь не знала. В тех же оградах ставились каменные жертвенники, на которых сжигались тела животных, принесённых в жертву богам. Владимир собрал всех богов в Киев, к своему дворцу.

«На холму, вне двора теремного», поставил он их кумиры: вот Хорс, вот Дажьбог, вот Стрибог, вот Мокошь, богиня, которую Русь узнала от чуди, а вот Симарьгл с орлиными крыльями. Но превыше всех воздымался Перун — сам деревянный, а голова из серебра, а усы из золота. Именно Перуна стали считать старшим из богов. Владимир хотел и среди богов устроить лад и порядок, как и в княжении своём.

В разгар зимы, в самый лютый карачун, приехал из Новгорода дядя Владимира — могучий воевода Добрыня. Он застал племянника в белом тереме, в окружении волхвов и бояр; в углу жались два грека в длинном чёрном платье, и волхвы злобно косились на них, однако бить не смели.

Князь обрадовался Добрыне и крепко обнял его.

— Славно угодил, Добрыня, добро пожаловать! У меня от них свар голова заболела!

— А почто, княже, держишь греков в своём тереме? Все греки — змеи! — сказал племяннику Добрыня.

Князь отпустил всех волхвов и греческих мнихов и только тогда ответил своему дяде:

— Эти двое ведают наш язык и толкуют мне гречские хартии. Нет на свете людей умнее греков. Надо от них набраться уму-разуму, тогда они не смогут нас обманывать. Скажи, Добрыня, набрал ты новую дружину, как мы уговаривались?

— Дружина велика, но без дела бражничает, и кони жиреют.

— Пожди немного, Добрыня: как снег сойдёт, кликну тебя на рать.

Добрыня очень обрадовался, потому что любил битвы и добычу. Он всё услышанное забыл и тут же спросил:

— Пойдём на полдень, бить греков?

— Пойдём на запад, бить ляхов, — с досадой ответил князь

— Что с них взять? Они небогаты.

— Не надобно мне серебра, — возразил Владимир, а надобно покоя. Сколько раз ляхи на нас набегали, сколько смердов в полон увели! Дадим острастку ляхам, Добрыня.

— Ну, добро, — сказал дядя, — дадим острастку ляхам.

И весною 981 года они пошли на ляхов. А в 982 году Владимир ходил в противную сторону, на восток, против вятичей.

Многих он побил, иных полонил, набрал много мехов и мёда, утвердил свою власть на Оке. Год спустя был поход на ятвягов, в 984 году — на радимичей, а в 985 году — на болгар и печенегов. Пять лет воевал Владимир, и стала его держава сильна и крепка, как при Ольге и Святославе.

В Константинополе два новых кесаря-соправителя, Василий и Константин, внимательно следили за Русью.

— Владимир умён, — говорил Василий, — он не ходит на полдень и наших границ не трогает.

— Владимир блуждает во тьме языческой, но ищет света, — отвечал Константин, — пошлём ему умнейших монахов, из наших крещёных болгар, пусть неустанно внушают ему Христову истину.

— Он хочет дружбы с нами, — сказал Василий.

— Дадим ему половину дружбы, — ответил Константин. — Нельзя доверяться варвару.

А Владимиру наскучили свары жрецов и волхвов. Ни один не хотел уступать другому, и они дрались из-за толстых быков прямо на требище у белого терема. Князю не удалось соединить разнoverующих славян, хотя кумиры их стояли на одном холме. Народ более всех чтил Перуна, но жрецы других богов не хотели уступать перуновым волхвам. Вот уже пять лет не переставали они спорить и браниться. А тем временем учёные греческие монахи терпеливо и тихо объясняли великому государю язычников все преимущества единобожия.

— Един язык на Руси, един князь в Киеве, един бог на небе, — говорили они. — Разумей, княже, не ладно ли тако будет?

— Стройнее будет, — соглашался он. — Ваша правда, старцы.

Был тогда великий мятеж в Византии. Полководец Варда Фока восстал против кесаря Василия, и мятежников оказалось больше, чем воинов у кесаря. Василий запросил помощи у Владимира.

— Пришли мне храбрых твоих руссов, да помогут одолеть богомерзкого Фоку! — сказал кесарь Владимиру через своих послов.

— Я тебе помогу, великий кесарь, но сперва поставим договор: чем ты мне отплатишь за помощь?

И тогда Василий Кесарь обещал князю Владимиру, что отдаст ему в жёны свою дочь Анну, если князь примет честной крест и евангелие Иисуса Христа.

И Владимир решил креститься.

Он послал в Болгарию на помощь кесарю шесть тысяч отборных русских воинов; с их помощью мятеж Варды Фоки был подавлен, и Византия отдохнула от кровавой смуты.

Но кесарь Василий и соправитель его Константин не спешили выполнять условий договора. Они говорили, что кесаревна хворает и не выходит из дворца: пусть Владимир обождёт.

На самом деле они не хотели выдавать Анну за варвара. Брак с нею чересчур возвысил бы Владимира среди государей Европы.

И тогда князь киевский снова сел на коня и повёл большую, сильную дружину прямо в Поле. Печенеги рассыпались от него направо и налево, а Владимир пересёк степь и вступил в Тавриду. Здесь он осадил город кесарей — Херсонес Таврический, который руссы называли Корсунем.

Могучие крепостные стены с башнями выдержали их натиск. Владимир велел своим отрокам «сыпать приспу» — земляную насыпь вокруг стен, чтобы с этой насыпи забраться на стены. Работа закипела, и приспа начала быстро вырастать.

Но однажды утром Добрыня разбудил Владимира в сильном гневе:

— Вставай, княже, греки крадут землю!

Князь вышел из шатра и увидел, что ночью корсунские горожане сделали подкоп и, обрушив приспу, перенесли половину земли внутрь города.

Владимир был упрям. Он велел копать и сыпать снова. А ночами греки выползали опять и крали землю. «Воину насыпаху боле, а Володимер стояше», — повествует летописец. Осаде не видно было конца.

Но однажды с корсунской стены кто-то пустил в княжий стан стрелу, на которой были написаны малые письмена. У князя Владимира был учёный и письменный грек, изгой из Византии, служивший князю для переговоров с кесарями. Он и прочёл Владимиру надпись на стреле. В ней говорилось, что Корсунь пьёт

воду издалёка, что подземный ручей течёт к востоку от стана, надобно князю найти его и перекопать.

Кто послал эту стрелу? Видимо, иные из корсунских греков устали от осады и хотели мира.

Владимир тотчас велел рыть борозду восточнее стана. Скоро его отроки наткнулись на водопровод из глиняных труб, спрятанный под землёй. В Корсуні раздались крики отчаяния, долетевшие до русского стана. Через три дня большое водохранилище в Корсуні иссякло наполовину. Греки черпали остатки воды со дна и делили её малыми чашками.

Началась мучительная жажда, и Корсунь сдалась. Греки открыли городские ворота, сложили оружие к ногам киевского князя и хриплыми голосами взмолились к нему:

— Пощади, княже, и дай нам пить!

Владимир не стал жечь Корсунь. Он вошёл в город и расположился в нём со свитой и дружиной, послав письмо кесарю за море. Греки чинили город; воду пришлось теперь возить. Владимир пировал в роскошном дворце стратига корсунского и ждал ответа из Константинополя.

А там совещались кесари.

— Если мы не отдадим ему Анну, он не отдаст нам Херсонес, — говорил Константин.

— Если он не отдаст Херсонес, мы потеряем Тавриду, — отвечал Василий.

— Что ж, придётся нам породниться с варваром.

— С варваром, но не с язычником, — сказал Василий.

И кесаревна Анна с пышной свитой и сильной охраной отправилась на Русь. На границе её встретила ещё большая охрана из руссов. Гриди с восторгом славили свою новую княгиню: все понимали, что эта свадьба станет великою честью для Руси и сделает скромнее гордых греков.

Перед Киевом Владимир встретил свою невесту и показал ей золотой крест на своей груди: он крестился ещё в Корсуні.

Корсунь была возвращена кесарю как «вено» — выкуп за невесту.

— Дорогое вено берут за кесаревых дочерей, — острили дружинники Владимира.

Князя и кесаревну греческие попы обвенчали по христианскому обряду, и впервые дочь кесарей стала женою русса.

Тогда-то и настал черёд Киева.

На утро после свадьбы князь Владимир созвал своих самых ближних воевод и бояр, велел подать им греческого вина для освежения туманных голов, а потом заперся с ними для важного совета.

Рядом с князем сидел болгарин в чёрной ризе до пят и белом клобуке; на груди его сверкал большой серебряный крест. У болгарина были огненные глаза, ястребиный нос и длинная борода, чёрная с проседью. То был епископ Михаил, присланный из Византии. Патриарх константинопольский назначил его митрополитом Руси.

— Думайте, братья! — сказал Владимир. — Завтра будем крестить Киев.

И началось обсуждение важнейшего дела: как заставить креститься киевлян.

Глава II. Простая чадь

Шумит, гремит весёлый Киев. Раскинулся он на высоком берегу Днепра Славутича, на семи дорогах; красным товаром полны его торжища; крепки его стены; высок белый терем князя Владимира, и прямо на терем смотрит с холма Перун с золотыми усами.

Кого только не встретишь на улицах Киева: и осторожных, ласковых греков, и рослых варягов, и клеймёных печенегов, княжьих пленников, и нарядных чехов, и чёрных болгар, и белых болгар! Все языки перемешались в Киеве: ведомо, стольный град!

Вот церковь святого Илии с крестом на верху: она построена ещё полвека назад, при князе Игоре, в неё ходят молиться киевские греки и крещёные руссы; в последнее время их становится всё больше в Киеве. Киевские паробки (молодые люди) по наущению волхвов четырежды пытались спалить эту церковь, да не вышло: один поломал ногу, другой впотьмах зашиб голову, у третьего стала сохнуть рука. Киевляне поняли, что Илия силен: он у греков — что Перун у славян. Лучше с Илиёй не связываться.

А прямо напротив церкви трое заморских гостей с крашеными бородами постелили на землю чистый коврик, сели на него лицом к полудню, провели ладонями по лицам и стали кланяться в землю, шептать молитвы. Киевляне их обходят, молиться не мешают: всяк молись, как хошь, а чужой веры на замай. Славянин пуще всего любит волю.

И вот около того места сошлись двое киевлян, двое друзей: Горыня, старый, жилистый коваль, и Рябоконь Кметич. Горыню весь Киев знал, как лучшего коваля, и не раз к нему прибегали тиуны с княжьего двора. Рябоконь был силач, бывший молотобоец у Горыни, с лицом, изрытым оспой, за что и получил своё имя; отец его был кмет Святослава и погиб вместе с ним у Днепровского Волока.

— Здоров ли, Горыня? — почтительно спросил Кметич.

— Здоров, а ты?

— У меня здоровья больше, чем надобно. Куда путь держишь, старинушка?

— Пива ищу, голове тяжко. Вечор у кума гостевал, а гостьба толста была, а меды крепки.

Рябокось обрадовался:

— Так пойдём со мною до бабы Щуки, она как раз наварила свежего пива, а меня она ведаёт и недорого возьмёт. Купим у неё пива, и голове твоей скоро полегчает.

— Эх, сынку, пошёл бы я с тобой до бабы Щуки, да всё моё купило уплыло! — ответил Горыня. — Вечор спьяна побранился я с моей ладой, она меня побила кочергой, а я потрепал её волосы, да с тем и лёг спать, а она, ведьма кособокая, схватила куда-то всё серебро и медь и не рассказывает...

— Да я бы за такое зло ей голову разбил! — вскричал Рябокось.

— Себе дороже станет, — ответил Горыня.

Они задумались и сняли шапки, чтобы удобнее было чесать в затылках.

— Придумал! — закричал вдруг Горыня. — Пойдём скорее к Козолупу Богатому! Он и богат, и тороват, он нам пива не пожалует.

— Худо придумал ты, старинушка, — ответил Рябокось. — У Козолупа в дому туга, какая гостьба в тугу!

— А по ком он тужит? — спросил Горыня.

— Тесть у него помер, два дни как тризну справил, теперь сидит в туге и ест одно тощее.

— Тесть ему два дома оставил и мех серебра, — заметил Горыня, — теперь Козолуп ещё богаче стал, ему радоваться надобно.

— Ой, что ты говоришь, лъзя ли?

Оба вздохнули: понятно, коли в доме туга, все ходят в тёмном платье, не пьют ничего кроме воды, воздыхают и плачут — в такой дом не суйся за пивом или брагой. Обидятся, киями рёбра пересчитают, а то и псами потравят.

И в такой-то думе да расстройстве застал наших друзей посадник Кривой Бык; око ему вышибло ещё в молодости, когда ходил он со Святославом на хазар. Кривой Бык был зол и богат, киевляне его не любили, но он сильно не жаловал греков и дружил с волхвами, а такая нелюбовь и такая дружба стали в Киеве нравиться.

— Здоровы ли, Горыня с Кметичем? — спросил он. — О чём кручинитесь, почто шапки сняли?

— Пива хотим, а Горыниха всю его удачу сховала, и купить не на что, — ответил Рябоконь, кивая на старшего друга.

— А у тебя-то нет ли? — спросил Кривой Бык.

Рябоконь от удивления замигал глазами.

— А у меня отродясь серебра не было, — чистосердечно ответил он посаднику, — мне медью платят, а матери моя всё отбирает да ещё и бранится, что мало.

— Права твоя матери, — сказал посадник и взялся за кошель, привешенный к его поясу.

Он приосанился, потряс кошель и спросил:

— Красно ли звенит?

— Ой, красно, красно! — в один голос ответили Рябоконь и Горыня.

— Так и быть, дам вам по куне, выпейте пива, а дам я вам недаром. Хотите ли?

— А какая тебе служба от нас нужна?

— Служба лёгкая, — ответил посадник. — Как напьётесь, так ступайте ко князьему двору, да лайте греков коль можете громче, да соромьте княгиню Анну, да грекам проходу не давайте, а и бока кому помнёте, и то добре.

Друзья усмехнулись.

— Эта службишка весёлая, — сказал Горыня, — да за неё по куне мало, ведь мы можем и плетей схлопотать.

— Так и быть, дам вам три куны на двоих, потому любя мне простая чадь славянская, — сказал Кривой Бык, — да только вы не обманите.

— Пусть нас Перун убьёт, коли обманем.

Развязал посадник свой толстый кошель и вручил друзьям три куны серебра. Они махнули ему шапками и ходом двинулись к бабе Щуке. За одну куну она им вынесла целую корчагу прохладного, свежего пива, и друзья наши сели в тени, стали пить и похваливать. По куне ещё у каждого осталось.

— Доброе пиво, — сказал с сожалением Горыня, — а у меня уже брюхо полное, а ещё полкорчаги осталось.

— Нет, меньше, — сказал Рябоконь, заглядывая в корчагу.

Но Горыня дал ему подзатыльник и не велел спорить.

— Глянь, Горыня! — сказал Рябоконь. — Вон Сиверко бежит, добрый паробок, тоже ковалёнок. Надобно его пивом угостить.

— Зови, — разрешил Горыня.

— Сиверко, Сиверко! — закричал Рябоконь. — Ходи к нам пиво пить!

Сиверко тотчас подбежал. Он был пригож и кудряв, ворот его рубахи был распахнут, он уже теперь стал паробок, и многие киевлянки заглядывались на него.

— Здоровы ли, Рябоконь с Горыней? — спросил он, садясь наземь перед ними.

— Здоровы, здоровы. Пей, Сиверко!

Он взял обеими руками корчагу и стал пить. Тогда Горыня увидал краснобурые пятна на груди у паробка.

— Это какая же садовница на тебе цветы сажала? — спросил Горыня. — Гориславна Вековуха али баба Щука?

Рябоконь захохотал, а Сиверко покраснел, как мак.

— Прощайте, отцы, а мне недосуг, — сказал он.

— Постой, погоди! — и Горыня схватил его за рукав. — Больно уж ты горяч. Куда бежишь?

— Бегу ко князьему двору, там нынче котора будет, я подрататься хочу.

— Эй, Рябоконь, а ведь и нам туда дорога! — сказал Горыня и стал подыматься, землю с сором себя отряхивать.

— И верно, Горыня, мы так обещали, Перуном клялись.

— Так допивайте пиво, сынки, пойдём втроём.

Младшие допили пиво и крикнули:

— Эй, баба Щука, возьми свою корчагу, мы пойдём ко княжью двору греков мять!

— Добре, сынки, добре! — отвечала баба Щука. — Помните их, клятых, только в велику котору не встречайте.

— Сами знаем, нечего нас учить, — важно ответил Горыня.

И они пошли втроём.

Чем ближе ко княжью двору, тем теснее становилось на улицах. Перед воротами князя Владимира волновалась густая толпа киевлян. Белый терем сиял над каменным тыном. На воротах стояли старые гриди в железных шапках, небрежно опираясь на секиры и покручивая свои длинные усы. За тыном было тихо.

— Володимере-княже, выглянь, покажись, солнышко наше красное! — кричали киевляне. — Ты Перуна с Хорсом забыл, в грецкую веру окрестился, как твоя бабка!

— Выглянь, Святославич! Почто нашим богам не жреши?

Весь Киев уже знал, что князь крестился и что новые греческие попы приехали из Царьграда к Володимиру. Недовольство росло, направляемое волхвами и «нарочитой чадью», то есть знатными людьми, не хотевшими усиления княжеской власти.

Вдруг толпа заметила, как в белом тереме приоткрылось на самом верху резное косящатое окошко и из него выглянула женская головка, повитая тонким белым платом с золотыми вышивками. Все узнали княгиню.

— Анна, грекиня, сорока заморская! — заревел Рябоконт Кметич, подняв тяжёлый кулак. — Чем ты нашего князя опоила?

Окошко тотчас захлопнулось, но толпа уже не хотела отвязаться от Анны: полетели бранные прозвища, на которые у киевлян всегда была неистощимая выдумка, и облыжные обвинения Анны в гречком колдовстве, и похабные догадки о том, чем она прельстила князя, разославшего своих прежних лад и милушек по дальним сёлам.

— Всех разогнала, малых чад не помиловала! Али у тебя колени из золота, брюхо из серебра, недро масляно? Али ты слаще наших невест? Али белее моешься?

Гриди на воротах перестали крутить усы, крепче взяли за секиры, заворчали, как псы. Толпа придвинулась ближе к воротам; кое-кто уже собирал камни, а иные ладили пращи. В те времена эта игра была всем ведома.

Сиверко вскочил на плечи Рябоконя, и тот держал его за ноги. Возвышаясь над толпой, Сиверко размахнул руками и закричал:

— Братья, послушайте меня! Мы славяня, простая чадь, нам с греками не ведаться, не свататься! Почто князь прогнал волхвов со двора, Перуну не жрет, грецкому богу молится? Не волим греков?

— Не волим! — дружно отвечала толпа.

— Братья, умолим князя, пусть отошлёт гречких черноризцев домой! Станем за наших богов! Как деды жили, так и

мы будем жить! Пусть Володимер отпустит Анну да вернёт своих лад в терем. Страхнул он их, как худую калигу с ноги, а они краше Анны были.

— Краше, краше! — заревели со всех сторон.

Сиверко задрал голову, приложил ладони отвором ко рту и во всю мочь крикнул:

— Анна, ступай вон, воротись во греки!

— Анна, воротись во греки! — загремела толпа.

И вдруг окованные медью княжки ворота заскрипели и растворились; тридцать всадников, незаметно построившиеся за воротами, вырвались с княжьего двора, и конские копыта загремели по тесовым мосткам, ведущим от ворот на площадь. В следующее мгновение всадники врезались в толпу; щедро потчuya её плетью. Поднялся стон и крик, киевляне бросились врассыпную. Среди всадников вертелся на горячем коне княжий любимец Укарай, раздавая своим людям приказания и показывая рукою, кого ловить. Алый плащ висел у него за плечами, а на голове сверкала железная шапка грецкой земли, облитая золотом.

Сиверко, спрыгнувший с плеч Рябоконя, мигом раскрутил пращу над головой и пустил камнем в Укарая. Камень ударился о золотую шапку, так что звон пошёл по площади. Укарай покачнулся, но усидел в седле. Волком бросился он на лихого паробка и уж не плетью думал его ожечь, а хотел посечь мечом: все видели, как вырвал Укарай из ножен меч из сивого железа, блестящий и холодный, как горный ключ. Крик поднялся пуше, и уже насккивал Укарай на убежавшего Сиверку, но тут Рябоконь Кметич, подобрав длинную слегу, ударил ею в грудь вороного жеребца.

Сломалась слега, осел воронко и дико заржал, маша передними ногами, а Горыня, Сиверко и Рябоконь свернули в переулок, перескочили через плетень и убежали огородами.

— Ты не больно разумен, Рябоконь, а на руку скор! — похвалил Горыня своего друга. — Пропал бы Сиверко, кабы не ты.

Запахавшиеся и усталые, они вытерли пот со лбов, помочились на капусту и разошлись во-свояси, разнося по Киеву весть о событиях у княжьих ворот.

И Укарай вошёл ко князю доложить о всём, что было. Он был бледен от злости, левая бровь его дергалась.

— Шелом мой камнем испортили, — кипел он, — триста кун стоит шелом, гречкой золотой хитрости, таких у нас боле не сыскать.

— О чём они шумели, Укарай?

— Соромили княгиню, кричали, что прежние твои лады краше, гнали Анну домой во греки, велели тебе жрати старым богам.

— Кого видал ты в которе?

— Право, княже, одни мизинные люди, простая чадь славянская, ковали да кожейки.

— Посадника Быка Кривоглазого видал?

— Не было его, княже.

— А волхвы?

— А те были, за спинами прятались, чёрный люд подъюзжали.

— Кого из крикунов ты поввязал?

— С десяток изловил, княже. Только не сумели схватить того, кто стал первым соромить княгиню Анну, да с ним ещё паробок, кто гнал её во греки.

— А ты их запомнил?

— Я глядел с тына и всех помню. Первый велик и силен, как медведь, а харя у него корявая, шилом бритая; другой ловок, пригож и волосом рус, таких девки любят.

— Если узнаешь их в Киеве — хватай.

— Добре, княже, будет по твоему велению.

А Киев шумел и гремел, волнуясь и толкуя о которе у княжья двора; разбежались по нему люди в драных рубахах, посечённые плетью и ушибленные конями. Кто нёс поломанную руку, кто показывал свой выбитый глаз. Волхвы кричали, что князь Володимир нынче-завтра будет крестить Киев.

Около полудня киевляне со страхом увидели, как въезжают в город конные воины князя и входят пешие. Дружина стягивалась к белому терему.

— Эко силы нагнал! — шумели киевляне.

— Как на печенегов!

Самый старей из волхвов, Усыня Пейвода, медленно шёл по Киеву в богатом, но изодранном платье. Его вели под руки двое жрецов помоложе. Седая борода Усыни была густо замарана

кровью, кровь стекала с рассечённого лба, заливая ему глаза, но Усыня не давал никому обмыть его рану и кричал страшным голосом:

— Братья, князь вас хочет всех окрестить, и будете ему робить, яко холопы! Кого он в воду макнёт и греками закланёт, тот волю потеряет!

Весь Киев вышел на улицы. Разнеслась весть, что князь идёт на великое требище.

— Быть беде!

Народ устремился к холму Перуна.

Рождение человека *Исторический рассказ*

Суворов умирал в возрасте 70 лет, оскорблённый неблагодарностью императора Павла. Граф Кутайсов от имени государя явился в дом Хвостова, где лежал умирающий, требовать отчёта за последнюю кампанию.

Старик глядел на пышного вельможу с носом попугая и сидящим хохолком и думал: «видал таких, видал таких!»

Кутайсов происходил из турок; некогда пленник, потом денщик Павла, теперь — один из столпов державы! Этих турецких лиц Суворов перевидал великое множество.

— Передай государю, — тихо, но внятно сказал Суворов, — что я готовлюсь дать отчёт Царю Небесному...

Лицо турка привычно мимировало сочувственную набожность.

— ...а до земного мне теперь дела нет, — закончил Суворов.

У Кутайсова отпала челюсть. Суворов удовлетворённо закрыл глаза.

Последняя кампания была самая страшная в его жизни. Ему было стыдно перед своей терпеливой, голодной армией. Он возвращался непобеждённый, но одуроченный.

Его одурочил Массена, который успел разбить Римского-Корсакова ещё до того, как Суворов перешёл Сен-Готард, и взять шесть тысяч русских в плен. А когда на озере не оказалось ни одной лодки, пришлось не солоно хлебавши, перейти в долину Дуная и брести во свояси. К чему были все эти альпийские мучения? — Но нет, его одурочил венский гофкригсрат, эти жирные коты... Bertrand et Raton... да, он таскал им каштаны из огня, это он Ратон, глупый кот из Лафонтеновой басни, а они — хитрые обезьяны, Бертраны... отвоевал им обратно Италию, а они выпросили нас вон...

А как увивались, какие комплименты ему делали! А как угощал его обедом Мелас!

Ах! Нови!

В нём снова шевельнулось чувство торжества с прибавкою философского сожаления, какое он испытал при Нови, когда

адъютант, косо кренясь в седле и боком осаживая горячего коня, подлетел к нему с вестью, что генерал Жубер убит.

А ведь Жубера убил он, Суворов!

Неважно, от ядра или пули пал Жубер, всё равно: гибель главнокомандующего — дело враждебного командующего. А жаль, что не довелось померяться с Бонапартом!

Нет, не гофкригсрат одурачил его. Более всех надул его Павел Петрович.

Сидеть бы сейчас в Кончанском да ворошить поленья в печи, перечитывая Мармонтеля и Тита Ливия... Так ведь нет, дал себя уговорить, вытащить в мир, поддался Павлу Петровичу. Небось, сердчишко-то побрякивало, когда этот курносый урод производил тебя в рыцари Мальтийского ордена!

— *Releve-toi, bailly Souvaroff!*

Нужны тебе были эти побрякушки? Что, своих мало? Удил бы рыбу, как Румянцев! Так нет же — Петербург, Вена, Ломбардия, Чёртов мост!.. К чему, к чему? Всё пошло прахом. Обманули. Одурачили.

Надо было кончить Прагою. Это был красивый конец. Он принял депутацию Варшавы наутро после штурма: выхватил шпагу из ножен, швырнул наземь и сказал им по-польски:

— *Pokój!*

Да, это по-римски: после победы швырнуть прочь отслуживший меч и обнять побеждённого врага, просящего милости. А вы думали, Суворов только кукарекать умеет?

Ах, надо было кончить Прагой!

Голубой Каин
Историческая хроника

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...
Поручик Лермонтов.

Наш народ оттого умён, что тих, а тих оттого,
что несвободен.
Генерал-лейтенант Дубельт.

Глава I. День генерала Дубельта

Быть может, он не всем угоден,
Ведь это общий наш удел,
Но добр он, честен, благороден, –
Вот перечень его всех дел.
В. А. Жуковский о Дубельте.

Как и каждое утро, подъезжая к зданию Третьего отделения, Леонтий Васильевич Дубельт быстро проиграл в уме главнейшие пункты утреннего доклада. Войдя в здание и ласково ответив на приветствие подчинённых, он взял в своём кабинете небольшую портфёйль с докладом и отправился на «графскую половину».

Граф Орлов, шеф Отдельного корпуса жандармов и начальник Третьего отделения, принял его со своим обычным деловым и дружеским радушием. Сидя вдвоём в кабинете графа, они составляли разительный контраст.

Алексею Фёдоровичу Орлову было уже сильно за шестьдесят, но он выглядел прекрасно. Ростом, силою и красотой он выдался в свою знаменитую породу, столь известную в царствование Екатерины Великой. Лукавый гигант с красивой сединой, он смотрелся большим барином.

Перед ним малорослый и худощавый Дубельт казался мелковат. Ему было в момент нашего рассказа 57 лет, но он выглядел моложе благодаря быстрой походке, необыкновенно живым движениям и пронзительным глазам, бегавшим во все стороны; в нём бросались в глаза пружинистая энергия и проницательная, острая любознательность.

Граф Орлов обладал огромным авторитетом и пользовался безграничным доверием государя. В прошлом лихой кавалерист и жуир, ~~содержавший балерину Истомину~~, он вынул счастливый жребий в роковой день 14 декабря 1825 года: возглавляя одну из неудачных атак конной гвардии на мятежное каре, Орлов был ранен. В тот же вечер государь лично посетил раненого и поздравил графом.

И первая милость, которую испросил для себя граф Орлов, заключалась в избавлении от суда своего брата, одного из главных заговорщиков. Этим простым человеческим поступком Алексей Фёдорович Орлов вызвал восхищение запуганного русского общества.

Впоследствии он проявил блестящие дипломатические способности, а в 1844 году заменил внезапно умершего Бенкендорфа на посту начальника Третьего отделения. Великий сибарит, ленивый и беспечный, граф Алексей Фёдорович был несравненно умнее своего предшественника, но работать не любил, и поэтому генерал-лейтенант Дубельт, управляющий Третьим отделением, был графу совершенно необходим.

Все дела решались Дубельтом, и графа называли послушным орудием в руках последнего. Дубельт знал слабости и грешки своего патрона, но искренне уважал его за тонкую расчётливость, дальновидность, знание света и умение сохранять неизменное доверие государя на протяжении всех тридцати без малого лет царствования Николая I.

Между графом и государем существовали особые узы — узы верноподданически пролитой крови и монаршей благодарности. Государь всю жизнь особо протектировал людей, которых называл *«mes amis du quatorze»* («мои друзья по четырнадцатому числу»). Особое положение графа помогло Третьему отделению не только пережить прошлогоднюю неудачу, но даже в какой-то степени превратить ее в победу.

Суть дела заключалась в соперничестве двух полиций России — политической полиции (Третьего отделения) и министерства внутренних дел, которым ведал граф Перовский.

Компетенция Третьего отделения никогда не была точно определена. Еще при его образовании в 1826 году, когда граф Бенкендорф просил у государя инструкций, Николай Павлович вместо оных подал ему свой белоснежный платок и произнёс легендарную фразу:

– Утирай этим платком слёзы вдов и сирот.

И Бенкендорф стал утирать. Постепенно Третье отделение присвоило себе весьма широкие полномочия, вмешиваясь в дела, далёкие от политики, например, в супружескую жизнь частных лиц или в происхождение крупных состояний, не говоря уж о литературе и театре. Большое число платных или добровольных информаторов имелось во всех слоях общества.

В минувшем 1849 году соперница Третьего отделения, полиция графа Перовского и полковника Липранди, подставила ножку Орлову и Дубельту. Популярный в Петербурге граф Перовский и его правая рука Липранди сделали из компании болтунов-чиновников, собиравшихся у Петрашевского, некий «заговор идей», чуть ли не свой Союз коммунистов наподобие того, что в сорок восьмом году обнаружился в Рейнской Пруссии.

Дубельт не обращал особого внимания на петербургских чиновников. Он усиленно занимался московскими и киевскими славянофилами, поляками и осевшими в Европе русскими выходцами. Тем временем Липранди целый год держал в кружке Петрашевского своего секретного агента и набрал достаточно матерьялу, чтобы произвести впечатление на государя.

Когда Дубельт ознакомился с «личным мнением» Липранди — требованием смертной казни для всех петрашевцев, то внутренне Леонтий Васильевич даже усмехнулся этой нахальной игре. Он уже знал, что там на смертную казнь никак не наберётся.

Кроме того, Дубельт был *добл.* Таковым считал его не один Жуковский, но и многие, имевшие с ним общение.

Боевое прошлое Дубельта, его бородинская рана и многочисленные награды говорили сами за себя. После вынужденной отставки в 1828 году он целый год провёл без всяких

занятий. Безделье угнетало его кипучую натуру; к тому же он был небогат. Тогда-то он и принял нелёгкое решение — пойти на службу в жандармский корпус, столь презируемый в обществе и в армии.

Жена его Анна Николаевна, урождённая Перовская и родная племянница адмирала Мордвина, пыталась его отговорить, но Дубельт в письме к ней разъяснил, что доносчиком он никогда не будет, а воспользуется своею службою в Третьем отделении для добрых дел. С тех пор он порою припоминал это намерение.

Он презирал своих шпионов и рассказывал в свете, что платит им по 30 или по 300 рублей наградных в память о тридцати серебряниках Иуды Искаротского. Он исповедовал необходимость «добрых внушений» прежде карательных мер, с арестованными был любезен и учтив, во всём корпусе жандармов выделялся своей образованностью. Светским людям он умел оказывать небольшие, но ценные услуги.

Так, в 1837 году он разбирал вместе с Жуковским бумаги покойного Пушкина и, сдружившись с почтенным поэтом, закрывал глаза на кое-какие нарушения, например, вынос некоторых рукописей Жуковским. Между прочим, сочинений убитого Пушкина генерал не любил и через несколько лет запретил Краевскому тиснение новонайденных пьес покойника, сказавши просто и веско:

– Довольно этой дряни и при жизни его напечатано.

В 1846 году по просьбе своего агента Фаддея Булгарина, которого генерал светски мальтретировал, Дубельт выхлопотал у государя пенсию вдове литератора Николая Полевого...

Так или иначе, Дубельт не принял всерьёз устрашающего «личного мнения» Липранди по делу Петрашевского. Но надо было спасать *лицо* Третьего отделения.

Когда Липранди по приказу государя передал свои четыре списка Третьему отделению и поднялась суматоха, Дубельт озаботился оказать свою деловую хватку. Он быстро и ловко взял всех петрашевцев в одну ночь, так что от скорости приключились сразу две ошибки: взяли не того Львова и лишнего Достоевского. Но эти ошибки были мигом исправлены.

После этого Леонтий Васильевич деятельно участвовал в следствии. Председателем особой следственной комиссии был

генерал Набоков, комендант Петропавловской крепости; ему потом и достались все лавры за долгую и утомительную возню с петрашевцами. Яков Ростовцев на допросах не раз выходил из себя, возмущался до крика заpiresательством иных подсудимых; Дубельту это было на руку. Своею светскою любезностью, тоном нравственного увещания и видом сурового отеческого участия он достигал большего, чем Ростовцев ругательствами.

Впоследствии литератор Достоевский-второй, проходивший по этому делу, написал о Дубельте: «Леонтий Васильевич был приятный члк».

Так Дубельт наверстал упущенное, и после дела Петрашевского все учебные заведения Петербурга были отданы под негласный надзор Дубельта.

В то январское утро 1850 года, с которого начинается наш рассказ, Дубельт после обычного доклада взглянул на свои карманные часы и, увидя, что осталось еще минут двадцать, испросил позволения графа возобновить их давнейшую беседу по одному важнейшему делу.

— Полагаю, — сказал Дубельт, — что граф Лев Алексеевич по своей добродетели и уму есть один из лучших наших министров.

Граф Орлов с улыбкой кивнул.

— Однакож, — продолжал Дубельт, — по ведомству полиции сейчас неблагополучно. И разумеется, это не графа Льва Алексеевича вина, а просто одному министру трудно тащить двойную ношу.

— Куда вы клоните, Леонтий Васильевич?

— Не сочтёте ли вы, ваше сиятельство, более отвечающим государственному благу разделение ведомств — полиции и уделов?

— Вы многого хотите, Леонтий Васильевич! И надо ли? Главный фокусник — это ведь сардинец, а без него граф Лев Алексеевич нам не помеха, он порчу не выдумает.

Разговор по воле графа Орлова стал откровеннее. «Сардинцем» они называли полковника Липранди, который был родом из Сардинского королевства, когда-то бежал в Россию от Наполеона и даже в одной повестушке покойного Пушкина был выведен под именем Сильвио.

— Но ведь граф Лев Алексеевич держится за сардинца, и государю внушили доброе мнение об этом Макьявеле, — заметил Дубельт.

— Что ж вы предлагаете, mon ami?

— Моё дело — исполнять чёрную работу, а ваше — вершить судьбы державы. Следовало бы разделить два министерства; конечно, уделы останутся графу Перовскому, а вакантную портфель нужно поручить кому-либо из друзей вашего сиятельства, потому что министерство внутренних дел и Третье отделение должны работать рука об руку, а не уподобляться басне Крылова, где лебедь рвётся в облака, а рак желает нырнуть в воду.

— Это будет нелегко внушить государю, — заметил граф Орлов.

— Приложите ваш ум. Вы — homme d'État, вам и карты в руки.

— Кстати, насчёт карт, — рассеянно пробормотал граф, вынимая золотой брегет и нажимая на головку, — опять в городе болтают лишнее насчёт одной карточной компании...

— Вот как! И вы считаете нужным...

— Нет, нет, что вы! Я не собираюсь делать из вас монаха. Но вы же знаете, как государь относится к игре. Могут использовать всякие инсинуации.

— Я приму свои меры, — обещал Дубельт. — На всякий роток не накинешь платок.

— Накиньте депозитку! — посоветовал граф, вставая.

Ему было пора во дворец.

Дубельт вернулся к себе, когда пробило 11 часов утра. Он был задумчив; его тревожили признаки возрастающей в свете антипатии к нему, генералу Дубельту. Безучастно наблюдать эту тихую оппозицию салонов он не мог, однако противодействовать ей следовало с умом: чем-то задобрить салонных шептунов, погладить их по шёрстке.

— Михаил Максимович, спросил он у своего лучшего сотрудника Попова, — не было вестей из Дрездена?

— Той, что вы ждёте, не было.

Дубельт улыбкой дал понять, что ценит его догадливость. Оба знали, что сейчас в Саксонии судят Михаила Бакунина.

Оставшись один в своём уютном кабинете, Дубельт расстегнул по-домашнему мундир, закурил трубку и извлёк из бюро заветную тетрадку. В ней он фиксировал мысли и промемории.

«Макьявель — опасный советник для государства, опирающегося на религию и мораль, — писал Дубельт. — Для блага отечества лучше бы удалить его от дел.

Столица государства — не место для скандалов, тревог и больших арестов. Столичных жителей полезнее несколько менажировать.

Для того, кто покровительствует Макьявелю, следовало бы изобрести особливую министерскую портфель вне связи с полицией».

Да, всё это трудно. Приходится играть против очень крупных тузов. Их не приструнишь, словно какого-нибудь Краевского или, к примеру, Петрова.

Вспомнив Петрова, он потемнел лицом и расстроился.

В прошлом году его сильнее, чем дело Петрашевского, удивил и озадачил неслыханный случай — измена в собственном ведомстве.

Осенью 1849 года государь получил по городской почте анонимное письмо с приложением собственноручной Высочайшей резолюции карандашом, очевидно, вырезанной из какого-то дела, и с объяснением, что посылается сия резолюция как доказательство, что в Третьем отделении за деньги можно получить все, не исключая и царской подписи.

Государь разгневался, поднялась тревога, и вскоре выяснилось, что резолюция вырезана из бумаги не слишком важного содержания — из документа о лошадях жандармского дивизиона. Бумага хранилась в архиве Третьего отделения, ее нашли в «своей» карточке, только резолюция оказалась вырезана. Подозрение пало на Петрова, который накануне дежурил по Третьему отделению и по окончании присутствия оставался в помещении один.

Этот Петров Алексей, киевский студент, в начале 1847 года сделал донос о существовании и целях украино-славянского чайного общества, именовавшего себя Кирилло-Мефодиевским братством. Он показал на Гулака, Навроцкого, Маркевича и

Костомарова, а уж затем Дубельт с помощью Попова и Кордстрёма разматал всю цепочку, добравшись и до Шевченки с прочими. Дело было довольно интересное.

Граф Орлов в докладе государю отметил важность показаний Петрова, и государь повелел взять студента на службу в Третье отделение. Однако чиновник из Петрова не получился. К тому же все в Третьем отделении сторонились его как доносчика, один лишь добрый Попов опекал его. Петров стал злиться и дразнить сослуживцев либеральными речами. Любого другого на его месте тотчас зашвырнули бы в Олонецкую, но с Петровым это было невозможно: у государя отличная память, он может вспомнить и в любой день осведомиться о Петрове. Выгнать его со службы означало бы осудить решение государя.

Дубельт посоветовался с Поповым, и они решили сдать Петрова в архив, поскольку он знал иностранные языки: большая редкость в Третьем отделении.

Петров в архиве захандрил. В день получения государем анонимного письма архивный Иуда на службу не явился.

Мгновенно связав все это в своем ловком и вертком уме, Дубельт взял двух офицеров, прыгнул в карету и помчался к Петрову в Шестилавочную. Он застал молодого чиновника лежащим на диване, в халате и с перевязанным горлом; генерала комедии не трогали, он велел Петрову одеваться, самолично произвел скорый обыск, не давший результатов, и повез Петрова на Фонтанку.

Там Петрова заперли в комнату окнами во двор, служившую внутренней тюрьмой. На первом допросе Петров еще запирался, на второй пригласили протопресвитера Бажанова, главного священника гвардии, на аналой положили крест и евангелие. После короткого повторного допроса комиссия оставила Петрова наедине с протопресвитером; ему Петров признался первому.

— Всё же зачем ты устроил эту мальчишескую пакость? — спросил Дубельт у Петрова.

— Из мести, — ответил Петров.

— Как? Из мести? За что? За свою же собственную подлость?

Петров молча плакал, глядя в пол.

Сейчас он сидел в каземате. Дубельт знал Алексеевский равелин и его нумера: этакий каменный квадрат восемь на восемь аршин, до половины в земле, никогда не просыхает, и по стенам гуляют мокрицы ростом с мизинец взрослого человека. Пускай помокнет годик-другой, а сушиться поедет в Олонецкую!

Все же Дубельта тревожило, что этот бланбек у себя в Киеве держался правильного образа мыслей, а здесь, в Третьем отделении, проникся отвращением к своей собственной судьбе.

Дубельт подошел к окну и посмотрел на Фонтанку.

Свинцовый кисель. К петербургской зиме невозможно привыкнуть.

Скверно.

Он взял секретаря и начал прием.

При своих учтивых манерах, дела он решал быстро и волокиты не терпел. Он был самым энергичным человеком в России. Он мог бы делать вчетверо более, если бы его не душила паутина мелочей.

Через три часа канцелярская рутина кончилась. Посмотрел на часы: отлично, время есть!

Взяв кое-что с собою, надел шинель, надвинул фуражку, обул галоши.

— Михаил Максимович, ворочусь через три часа. Подготовьте, что надо, к докладу!

Он вышел, сел в карету и покатил в самый фашионебельный квартал столицы, на Большую Морскую.

По его указанию, карета остановилась перед особняком с княжеским гербом над входом. На его короткий и резкий звонок открыл швейцар; при виде гостя он вытянулся и побледнел.

Генерал привык, что его всюду узнают, и давно утратил чувство мрачного удовольствия от этих внезапно белеющих лиц и прыгающих глаз. Он знал, что по городу ходят дурацкие слухи о тайных пытках и экзекуциях в подвалах Третьего отделения.

— Дома ли барин? — спросил он у молодого рослого лакея.

— Нне принимают, ваше высокопревосходительство.

— Так доложи, братец: генерал-лейтенант Дубельт.

Лакей обернулся очень быстро.

— Соболаговолите-с подняться в гостиную, ваше высокопревосходительство.

Подскочил другой лакей, снял шинель. Поднимаясь по лестнице, Дубельт отметил, что тропические растения в кадках отменно благоухают. В гостиной прохладно сияли натертые полы. Из картин ему понравилась «Кающаяся Магдалина», особенно роскошные рыжие волосы и бюст, а также «Моисей, иссекающий воду из скалы». Драпировки были очень хороши и, по всей видимости, очень дороги. Но где же хозяин?

В этот момент открылась боковая дверь, и вошел слегка зардевшийся узкоплечий юноша, на ходу оглаживая цветной галстук... На миг за его спиной в дверном проёме выглянуло женское личико с округлёнными глазами, с алым ротиком в виде буквы «он» и декольте побогаче кающейся Магдалины. Она бросила на Дубельта один взгляд, и дверь закрылась.

– Душевно рад, генерал...

Голосок у юноши тонкий, чуть не дишкант. Самый счастливый сирота Европы, только вчера из опеки, молоко на губах не обсохло: то-то и подбирает себе эдаких кормилиц!

– Дорогой князь, простите, что я нарушил ваше уединение. Нет, нет, я знаю, что в неурочном визите лица, облечённого властью, нет особой приятности. Я мог бы завтра вечером встретить вас у вашей тетюшки, то там разговор *tête-à-tête* будет затруднителен.

– Не, угодно-ли, генерал, перейти в мой рабочий кабинет? Там нам будет удобнее.

– С охотою.

Князь провел его в свой кабинет, и Дубельт с интересом огляделся. Книжный шкаф, бюро, на стене «Сусанна и старцы». Бюст и бедра совершенно античные.

– Немецкая работа? — спросил Дубельт.

– Нет, писал наш живописец, un nommé Ланченко.

– Сусанна великолепна, а старцы нехороши.

– Vous avez raison, mon général, — подтвердил князь, усаживая Дубельта в мягкое кресло. — Старцы получились заурядной деталью пейзажа.

Он сам уселся и умолк, вопросительно глядя на Дубельта.

– Дорогой князь, одну из привилегий вашего положения в обществе составляет то, что вы служите удобной мишенью для

клеветы. Мне подумалось, что дружеское предостережение помогло бы вам изобличить тайного завистника.

Юноша захлопал глазами:

— Я весь внимание, генерал.

— Мы получили анонимный донос на вас...

Дубельт вынул из кармана вчетверо сложенный листок бумаги.

— Сам по себе донос ничтожен. Некто обвиняет вас в порицании произведенных правительством наградений. Вы якобы сказали, что Ридигеру дали Андрея за тяжелую кампанию, Набокову за неприятную кампанию, Адлерберу за приятную, а Клейнмихелю — просто за кампанию.

— Mon Dieu! — вскричал изумленный князь. — Но это повторяет весь город. Этот *bon mot* принадлежит князю Меншикову!

Дубельт улыбнулся, любуясь Сусанной.

— Милый князь, в Петербурге все остроты приписываются князю Меншикову, как двадцать лет назад Пушкину, а в Москве Соболевскому. Впрочем, повторяю, донос ничтожен. Я приехал лишь сказать вам, что вы в своем интимном кругу имеете затаённого врага. Мой графолог руку даёт на отсечение, что письмо написано молодой женщиной.

— Вы позволите, генерал?

— Разумеется, затем я и привез его вам. Вспомните, какая женщина имеет основания питать к вам недружественные чувства, и попытайтесь припомнить её почерк, — сказал Дубельт, подавая письмо.

Князь перечёл его два раза и понюхал.

— Эрнестинка! — вскричал он.

— Вы узнали руку?

— И руку, и грамматические ошибки, и духи.

— Tout est an mieux dans le meilleur des mondes possibles, — сказал Дубельт, вставая с кресла. — Благодаря этому доносу, вы отыскали в цветах змею. Прошу вас собственноручно истребить сию бумажку и принять ваши меры в отношении неблагодарной особы.

— Генерал, вы удивительный человек! Правду говорят, что свет не умел оценить вашего внутреннего благородства.

– Ба! — философски отвечал Дубельт. — Кто ждёт добра от света?

– Чем я мог бы отблагодарить вас, генерал?

– Считать меня вашим другом, c'est tout!

– Всенепременно, генерал! Вы можете на меня положиться!

Юноша проводил его до самой лестницы. Садясь в карету, Дубельт ворчал себе под нос:

– И у такого оболтуса четыреста тысяч годового дохода, прошу покорно!

– Куда прикажете, ваше превосходительство? — спросил кучер.

– В Апраксин двор!

В Апраксином дворе народ кишел, как муравьи в своей куче. Дубельт зашёл в лавку, где торговала сожительница одного полицейского поручика. Улучив удобную минуту, Дубельт подал ей знак глазами; она подплыла к нему с угодливой улыбкой лавочницы.

– Завтра в четыре пополудни, где и всегда, — тихо и внятно отпечатал ей Дубельт.

Она Кивнула, поклонилась и с широким жестом ответила во всеуслышание:

– Что только вашей душеньке угодно, и первейших сортов!

– Вот эти, например, очень пойдут к мундиру вашего превосходительства!

И она поднесла ему пару перчаток.

Пришлось купить.

И поскорее убираться, потому что многие стали оборачиваться на его форму и даже узнавать.

Вышел, сел в карету и поехал в самый модный ресторан. Фаддей Булгарин в одной статье назвал его «храмом гастрономии», молодёжь — «храмом Венеры», а один из великих князей нашёл слиянное имя: «храм Венеры Гастрономической».

В ресторане генерала тотчас провели в отдельный кабинет. Сам хозяин ресторана, демонстрируя завидную гибкость спины, принял его заказ: обед на двоих, бутылочку редереру.

– Когда появится одна дама в трауре, под густой вуалью, с собольей муфтой, высокого роста и très distinguée, немедленно проведите её ко мне! — добавил Дубельт.

– Понимаю, ваше превосходительство!

– И чтобы ни одна живая душа к этой двери близко не подходила. Вы меня поняли?

– Совершенно понял, ваше превосходительство! — почти шёпотом ответил хозяин, почтительно и лукаво прикрывая глаза.

Дубельт усмехнулся. Пусть думает, что хочет: у него же здесь было назначено свидание с московским агентом. Уютное розовое гнёздышко в стиле рококо вполне подходило для его целей.

Оставшись один, он подошёл к зеркалу. Да, вокруг глаз обозначались гусиные лапки морщин. Бессонные ночи не молодят!

Он расправил плечи, чуть подкрутил кончик усов. Всё ж таки московский агент был дамой, и притом элегантной.

А что это наверху?

Он заметил, что верхняя половина зеркала изрезана надписями, сделанными при помощи алмазов в перстях.

Дубельт прищурился, читая: «Ich liebe dich, Emma!» — «Du bist Verräter.» — «Леони стерва.»

Он тихо засмеялся. Всё это было так знакомо!

В дверь постучались.

– Entrez! — сказал Дубельт.

Хозяин ресторана ввёл высокую даму в трауре. Дубельт встал, поцеловал ей руку и распорядился подавать обед. Он усадил даму и спросил, как прошло путешествие.

Affreux! — простонала дама. — Эти шестьсот вёрст сводят меня с ума. Когда же Клейнмихель построит железную дорогу?

Дубельт хотел ответить: «Когда сдерёт третью шкуру с казны», но тут снова появился хозяин во главе целой вереницы лакеев с подносами. Стол был накрыт в мгновение ока, Дубельт ласково кивнул, и все исчезли. Теперь дама сняла свою шляпу с вуалью, и генерал мог вволю любоваться её классически ясным лицом. Она была одной из первых красавиц Москвы, но Дубельт взирал на неё хладнокровно: она была не в его вкусе, кроме того дело было важнее всего.

Прежде чем приступить к обеду, Дубельт вынул свой «книжник», открыл его и с легким полупоклоном вручил даме пачку государственных депозитов.

— Извольте пересчитать, мадам.

И он деликатно отвернулся к окну.
За спиной его звонко отщёлкивались считаемые деньги.
— Расчёт верен, — сказала дама.

Дубельт сделал снова плавный вольт-фас и пригласил её к столу.

Вскоре начался деловой разговор. Дубельт лишь изредка задавал вопросы. Он получил политический отчёт о состоянии умов в первопрестольной столице, о новостях света и о самом Закревском, которого государь в 1848 году поставил княжить и владеть Москвою со специальной задачей «обуздать революцию» и с почти неограниченными полномочиями.

Граф Орлов и Адлерберги покровительствовали Закревскому, но Дубельт имел свои виды и хотел всё знать о диких причудах графа Закревского, об амурах толстой графини и о том, сколько они берут. Особенно любопытно было, сколько «дани» платят Закревским богатые московские купцы-раскольники. Давно интересовали Дубельта и московские славянофилы, за которыми он пристально следил, считая, что гордое московское барство, вечно фрондирующее против «немецкого» Петербурга, какими-то тайными нитями связано с революцией.

В светской хронике Москвы одна новость заинтересовала Дубельта.

— Во всех домах отказано в приёме камергеру Базилевскому. Известный богач, имеет обширные поместья в Малороссии. Прежде на его балы сбегалась вся Москва, денег у него куры уже не клюют. Старый Аксаков говорил, что Базилевский — позор русскому дворянству. Старика не слушали. Этот Базилевский был очень крут со своими крепостными людьми; видимо, развлекался и с одалисками слишком нежного возраста, vous savez, нынче у многих принято...

Дубельт кивнул. Дама сделала паузу, чтобы отпить глоток шампанского, и тронула платочком красиво увлажнённые губы.

— Недели три тому назад Базилевского не приняли Трубецкие, потом Долгорукие, а потом отказали все. Признано за истину, что Базилевского *высекли его мужики*.

— Как высекли? — не выдержал Дубельт.

Собеседница засмеялась, наслаждаясь произведённым эффектом.

— Да так вот и высекли: поймали, привязали к дубу и отодрали, как дерут на конюшне шкодливого буфетчика или пьяницу-гайдука. Однако добро бы только высекли... Этим не кончилось.

— Что же ещё?

— Они взяли с него расписку в том, что он будет о сем молчать и не возбудит законного преследования. Такое собственноручное свидетельство о подлости он им написал и отдал, а они, как вы понимаете, надёжно спрятали.

— Бог мой! Какой же он дурак! — вскричал Дубельт.

Дама смеялась; зубы её сверкали, как перлы.

— Теперь ничего нельзя поделать, — сказал Дубельт.

А про себя подумал: «Обязательно довести до государя!»

— Каково происхождение его состояния? — спросил он.

— Самое тёмное. Мать его, рассказывают, держала разбойный притон, у неё прятался знаменитый Гаркуша; *peut-être, alle couchait avec se brigand*. От его разбоя Базилевская накопила горы золота, а затем предала Гаркушу властям: он был бит кнутом, клеймен и отправлен ловить песцов. А вся добыча осталась в роду Базилевских.

Дубельт знал, что убийства помещиков нередки, но экзекуция с подпискою о неразглашении — такого ещё не было. Он вспомнил слова из доклада покойного Бенкендорфа: «Крепостное право есть пороховой погреб под государством». Все это знают, однако продолжают бить, кормить голодной месячиной и портить крестьянских девок. Так мудрено ли, что...

— А это вам на десерт, генерал!

И дама подала ему мелко исписанный лист бумаги. Дубельт прочёл заглавие: «Послание графу Закревскому». Далее шли стихи.

По мере чтения улыбка всё шире раздвигала длинные светлые усы Дубельта. В послании Закревского сравнивали с турецким пашою. Одно место заставило генерала рассмеяться:

Ты нами править мог легко на старый лад,

Не тратя времени в бессмысленной работе;

Мы люди мирные, не строим баррикад

И верноподданно гниём в своем болоте

— Превосходно написано! Сочинитель вам знаком?

— Это Николай Филиппович Павлов, бастард графа Зубова от какой-то грузинки.

— Ай, боже мой, да знаю я его: автор запрещённой повести «Ятаган». Остёр, остёр! А граф Закревский знает?

— Уже знает и, думается мне, найдёт способ отомстить.

Они выработали главные задачи на время пребывания дамы в Петербурге и условились о следующей встрече. Оба пришли в хорошее расположение духа. Дама незаметно придвинулась поближе к Дубельту, стала смеяться чаще и громче, чтобы показать свою длинную шею. Известное дело, кабинет рококо и несколько бокалов редереру щекочат нервы и настраивают на галантные авантюры.

Однако Дубельт не любил, чтобы инициатива авантюры исходила от женщины. К тому же он был росту ниже среднего, и его собеседница казалось ему величавой, как преображенный флигельман. Ему не нравилась такая диспропорция.

Да и вообще он, подобно Чацкому, не любил смешивать «два ремесла» — политический шпионаж и амурные дурачества.

Поэтому несколькими деловыми словами он прервал затянувшийся кейф, и дама без особенного удовольствия подчинилась его воле.

Она ушла первой. Через семь минут, оплатив счёт и раздав недурные чаевые, ушёл из ресторана и Дубельт.

Он вернулся к Цепному мосту.

— Михайлов Максимыч! — сказал он Попову. — Срочно справьтесь, кто таков камергер Базилевский, малоросс, имеющий постоянное место жительства в Москве.

Было четыре часа пополудни, и в Третьем отделении уже зажгли свечи. Чиновники заканчивали свои труды. Дубельт набросал ~~предиктовал секретарю~~ черновик доклада графу Орлову и промеморию наиважнейших дел. ~~затем отпустил секретаря и~~ ~~своею рукою дописал самые важные~~ нотабене.

Вошёл Попов. Ему удалось узнать немного.

— Пётр Андреевич Базилевский, пятьдесят пять лет от роду. Женат на Грессер, племяннице фельдмаршала князя Трубецкого. Ни в каких историях замешан не был.

— Известен ли при дворе, имеет ли связи?

— Не похоже, ваше превосходительство. Чистокровный провинциал, из казацкого шляхетства. Может, Вронченко?

— Боже мой, какой вздор — Вронченко! Разве Вронченко — это двор?

— Нет, при дворе Базилевский не известен.

— Ну, что ж, тем лучше, — сказал Дубельт, вписывая в черновик доклада имя и отчество высеченного камергера. — На этом всё, день прошёл. Какая скука! Привезли эту мещанку из Пскова?

— Да нет, рано, они ещё не могли успеть. Завтра придут.

Дубельт задумчиво кивнул.

— Михайло Максимыч, будьте любезны, принесите немного чистеньких бумажек, сегодня хочу заехать к другу. Пять или шесть... Не в службу, а в дружбу.

Попов вышел. Здание уже было пусто, присутственные часы кончились. Сквозь коридор донёсся скрежет ключа в замке, когда Попов отпирал и запирали казённый сундук.

Драгоценный человек был Попов: умный, понятливый, а главное — один на всю канцелярию с университетским образованием. Сам Дубельт когда-то учился в горном корпусе, но пятнадцати лет уже был произведён в прапорщики: в кампанию 1807 года не доставало офицеров.

Попов же окончил Казанский университет, историко-филологический факультет. Да ещё Александр Александрович Галлер окончил Александровский лицей. Он, Попов и Дубельт были самыми культурными людьми в Третьем отделении.

— Шестьсот рублей, ваше превосходительство, — сказал Попов.

Дубельт положил деньги в книжник, и они вдвоём покинули кабинет. В экспедициях воцарились тишина и мрак, только за одною из дверей кашлял дежурный чиновник. Жандарм с карабином у входа в дом вытянулся и взял «на караул». Дубельт узнал служаку по ег седым усам и шрамам, кивнул ему:

— Доброй ночи, Потапыч!

Скача к Гедеонову, Дубельт продолжал по инерции думать о Попове. В Третье отделение служить шли не от хорошей жизни: встречались и карточные шулера, и битые офицеры, и воры, пойманные на краже казённых денег. Привередничать не

приходилось. Когда-то отставной ворчун Ермолов сострил: «Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хотя бы голубая заплатка». Да, в свете было много более или менее секретных агентов Дубельта. но крупных людей среди них не было, кроме Якова Толстого. В самом же Третьем отделении служил народ тёртый, приученный к сдержанности, но в общем недалёкий; многие тайно пили.

Попов когда-то служил в Пензенской гимназии, преподавал натуральную историю; его учеником был Виссарион Белинский, назвавший Попова впоследствии «лучезарным явлением» на сером фоне других педагогов. В начала 30-х годов Попов приехал в Петербург и определился в Третье отделение; был «сравнительно добр» и обязателен, особенно к писателям и журналистам.

В 1848 году, когда смутьян Белинский догорел в злой чахотке, Дубельт произнёс одну из своих устрашающих фраз:

— Жаль, что сам умер! Мы бы его сгноили в крепости.

А бывший учитель Белинского был правой рукою Дубельта.

...Приветливо распахнулись перед генералом двери знакомого дома, дохнуло теплом и духами. Сбрасывая шинель на руки лакею, Дубельт спросил, где Александр Михайлович.

— В кабинете-с, ваше превосходительство, ждут вас.

Тут его знали все, от хозяина до Жучки. Дубельт бывал здесь почти каждый вечер.

Когда генерал открыл дверь кабинета, фигурантка Машенька, одетая в газовый тюник, вскочила с колен Гедеонова и крикнула:

— Наконец-то, явился, старый разбойник!

Она кинулась на шею Дубельту, и они расцеловались.

Над ломберным столиком улыбалось желтоватое лицо Политковского; края его щёк обвисали, как линяющая гадючья шкура.

— Бокал вина? — спросил Гедеонов, вставая навстречу другу.

— Успеется.

— Тогда сигару?

— Mercі, не откажусь.

Дубельт выбрал регалию, обрезал её золотыми ножничками (это называлось в компании — «перейти в жидовскую веру») и прикурил от калетовой свечи. С наслаждением выпустив изо рта облачко ароматного дыма, он под его прикрытием окинул незаметным и цепким взглядом фигуры своих друзей.

Гедеонов был, кажется, хмелён, но держался твёрдо; напротив, Политковский лишь самую малость захмелел, но был уже слаб и раскидан. Однако именно его более всех снедала лихорадка азарта. Он улыбался, суетливо потирал руки и, наконец, воззвал первый:

— Ну, что ж, господа, начнём?

Бедняге не терпелось.

II. Директор императорских театров

Александр Михайлович Геденову было без малого шестьдесят. Службу он начинал в московском архиве иностранных дел, затем пошёл в военную и, наконец, пригнулся при дворе. Став директором театрального училища, он проявил понятливость и ловкость, чем снискал прочное благоволение фельдмаршала князя Волконского

Князь Пётр Михайлович Волконский был в 1826 году, в день коронации императора Николая I, назначен министром двора. Пользуясь почти безграничной милостью государя, он обеспечил карьеру Геденова: в 1833 году тот был назначен директором императорских санктпетербургских театров, а в 1847 — директором театров обеих столиц. Место его было особое, и вот почему.

Бальзак назвал императора Николая I «самым красивым мужчиной в Европе». Добавьте к этому, что императора не без оснований считали самым могущественным государем в мире; общепризнанными были его рыцарская отвага и великодушие. Королева Виктория назвала его «истинным джентльменом». Красота, сила, храбрость, рыцарская галантность... Такое сочетание должно было неизбежно волновать женские сердца.

Известная фрейлина Нелидова, красота которой сравнивалась тогда с шедеврами античного ваяния, пережила все мимолётные увлечения государя и до конца сохранила влияние на него. Когда она о чём-либо просила его в Варварин день (свои именины), Николай Павлович никогда не отказывал.

Но Варвара Нелидова не была и не могла быть единственной. Случались девушки из общества, фрейлины, однако преобладали актрисы и танцовщицы. Некая Асенкова, кстати, тоже Варвара, звезда водевиля, закапризничала как-то и не приняла внимания государя; Геденов ей сразу же показал, чего это стоит. У неё отняли даже собственную уборную; бездельников-клякёров сам директор нанимал шикать Асенковой, и она умерла от чахотки в 24 года. Государь, большой любитель театра, конечно, не знал о мерах, принятых Геденовым, и в ранней смерти актрисы увидел просто «перст судьбы».

Другие актриски и танцовки, с ужасом вспоминая судьбу Асенковой, выполняли любые приказы Гедеонова.

В Петербурге были недовольны князем Волконским: находили, что он даёт Гедеонову «слишком много воли».

Гедеонов знал наизусть и декламировал целые монологи из Корнеля и Расина. Он выписывал лучших итальянских певцов, платя им огромные деньги. Из Парижа он выписал Полину Виардо, бывшую любовницу поэта Мюссе; своим чудным голосом он свела с ума весь Петербург и в качестве трофея увезла из России Ивана Тургенева.

Русская труппа в Петербурге была тоже очень хороша, а в Москве ещё лучше, но это составилось само собой. Русское искусство Гедеонов презирал, всем русским актёрам и актрисам он говорил «ты» и третировал как лакеев; исключение составлял только Каратыгин, любимый трагик государя и примабалерина Елена Андреевна, ставшая ещё в бытность свою воспитанницей театрального училища невенчанной женою Гедеонова.

В 1850 году она ещё сохраняла свой талант, но утратила былую красоту. В личной жизни Гедеонова назревали перемены.

О нём в Петербурге говорили немало дурного. Хозяйственные дела дирекции императорских театров, приведённые в относительный порядок князем Гагариным, снова пошатнулись. Дефицит увеличился. Чиновники театрального ведомства строили особняки и дачи, покупали рысаков, а тем временем актёры (русские, разумеется) месяцами сидели без жалованья, от голода буянили, рисовали карикатуры на директора. Молодые театралы подпевали буянам, но Гедеонов оставался неприкосновенным: фельдмаршал берёг его как зеницу ока.

Генерал Дубельт был ближайшим другом Гедеонова и совершенно своим человеком в театральном училище, воспитанниц которого знал поимённо.

Третьим партнёром в их карточной игре был человек, как раз начавший входить в громадную славу — тайный советник Политковский, директор канцелярии «комитета о раненых», Высочайше учреждённого 18 августа 1814 года. В этом комитете ко времени нашего рассказа накопился очень крупный капитал в пользу инвалидов.

Начальником «Комитета 18 августа 1914 года» был какой-то старенький генерал; должность его была такая же синекура, как в Париже звание губернатора Дома Инвалидов. Но там эту последнюю должность исправлял Жером Бонапарт, последний брат Наполеона, ещё оставшийся в живых. А в Петербурге упомянутый генерал жил тихо, ни во что не вмешивался, так что даже имени его никто не слыхивал. Делами комитета о раненых повластно ведал Александр Гаврилович Политковский.

Он имел множество орденов и камергерский ключ, но в последнее время начал покучивать. Об удивительной роскоши его дома заговорил Санкт-Петербург. Политковский задавал помрачающие ум пиры и содержал самых дорогих женщин. Словом, он выдвинулся в первые ряды «сановников-шалунишек» тех лет.

Никто не знал источников его богатства, и в Петербурге его прозвали «новым графом Монте-Кристо». Шептались, что Политковский тайно пускает очень крупные суммы из инвалидного капитала в оборот на лондонской бирже. Знающие люди смеялись над этим:

— Где уж нам, дуракам, чай пить! На европейских биржах нам и делать нечего: тамошние мошенники, любого нашего хитреца проведут за нос и обдерут, как липку. Кто выиграл битву при Ватерлоо? Герцог Веллингтонский? Вздор! Ротшильд! Царь Иудейский!

И вслед за этим прославленным анекдотом давалась трезвая догадка: просто-напросто Политковский из вверенного ему инвалидного капитала финансирует тайную торговлю с Китаем. Если иметь под рукой миллион, так ничего не стоит удвоить, утроить, усмерить его!

Все эти сплетники сильно преувеличивали деловые способности Александра Гавриловича, но разговоры о внезапном обогащении не могли не беспокоить его: использование вверенного ему инвалидного капитала для финансовых спекуляций составляло бы деяние противозаконное. Поэтому никого не удивляла дружба камергера Политковского с директором императорских театров и управляющим III отделением.

— Через Гедеонова он имеет покровительство Волконского, а через Дубельта — ходы к самому Орлову!

Все знали, что князь Волконский, граф Орлов, Адлерберги и Клейнмихель составляли ближайшее окружение государя.

Дружба Гедеонова и Дубельта льстила Политковскому. Он же нравился им своим радушным гостеприимством и широтой простой русской натуры. Так возникло самое знаменитое карточное трио тех лет. Они играли только на чистые деньги, играли крупно. Расчёт производился на месте. В свою компанию не брали никого.

Гедеонов был самым старшим, Политковский — самым младшим, но разница в годах была невелика. Александр Гаврилович начинал уставать первым и играл час от часу всё хуже. При этом он делался как-то рассеян и истерически весел.

За игрою они порою отвлекались, шутили, рассказывали новости.

— Я получил письмо из Рима, — объявил Гедеонов.

— Странное совпадение, — пробормотал Дубельт, — я тоже.

Партнёры рассмеялись не прерывая игры. Затем Политковский спросил:

— Как поживает Степан Александрович?

— Здоров, слава Богу.

Сын Гедеонова, молодой археолог, служил в специальной комиссии, занимавшейся в Италии приисканием древностей для императорского Эрмитажа. Его специальность состояла в защите русской казны от итальянских мошенников, научившихся ловко подделывать древности.

— Степан пишет, что в Риме спокойно; карбонарии побиты, и народ приутих.

— Это верно, — подтвердил Дубельт, — Пий скоро вернётся из Гаэты.

Он был собран и сосредоточен. Здесь, в малом салоне Гедеонова, он занимался самым главным делом дня. Ибо для Дубельта его мрачная и таинственная служба была игрой, тогда как карты — серьёзным и важным делом.

Всё дело в том, что Дубельт был по-прежнему небогат. Причин тому было две: во-первых, *крайняя честность* Дубельта, а во-вторых, его увлекающаяся и даже страстная натура.

Щепетильная до рыцарства честность Дубельта принесла ему грозную славу. Немало людей в России говорило тогда с сердечным сокрушением:

— Эй, если бы он брал!

Но Дубельт презирал взятки. В минувшем году известный миллионер граф Потоцкий попытался предложить Дубельту двести пятьдесят тысяч рублей только «за обещание ходатайствовать» об освобождении Потоцкого от надзора. Узнав об этом из доклада Дубельта, государь чрез графа Орлова велел передать поляку, что не только у него, графа Потоцкого, но и у самого государя нет достаточно денег, чтобы подкупить генерала Дубельта.

Эти слова, выражавшие высокое мнение государя о Дубельте, повторял весь Петербург. Документ с этим распоряжением государя хранился в архиве III отделения.

В царстве взятки такая неподкупность пугала людей. Что касается второй причины, ограничимся пока указанием, что увлечения Дубельта требовали денег. Итак, с одной стороны, он не брал, с другой стороны — много тратил. Это не лучший способ наживать состояния.

Боевой офицер в эпоху «расточителя славы», как назвал Денис Давыдов Наполеона, Дубельт представлял взяточников шакалами. Но покрытый бранным прахом и кровию драгун, который врывается с обнажённым мечом в неприятельскую корчму и по праву победы берёт вино, еду и слуганок, — такой разве похож на шакала? Нет, он скорее подобен тигру!

В Дубельте было это тигриное начало. Он не брал взяток, но рассматривал казённый сундук как с боем взятую корчму. Для размаха его операций, для всех его тайных политических интриг, для его скрытых увлечений никогда не достало бы казённого бюджета, и он усиленно добывал средства для Третьего отделения из самых разнообразных источников. При этом нужно знать, что отчётность в Третьем отделении находилась в хаотическом состоянии, и даже сам Дубельт не знал, кто кому должен: он — казне или казна — ему. Поэтому, отправляясь к Геденову, он всякий раз прихватывал «чистеньких бумажек» из казённого сундука.

Класть на зелёное сукно потрёпанные деньги *не элегантно*.

Игра по крупной помогала Дубельту поддерживать равновесие его загадочного бюджета.

Другую опору этого равновесия была уже упомянутая нами неограниченность компетенций его ведомства. Так, например, петербургский купец Гутков торговлею и другими делами нажил себе в короткое время крупное состояние. Ввиду сего Третье отделение признало себя вправе подвергнуть его допросу: как и чем он нажил себе состояние?

Объяснения Гуткова показались Третьему отделению неуважительными, и оно признало себя обязанным доложить государю императору об отобрании у купца капиталов и достояния и о высылке его из Санкт-Петербурга (конфискации Третьего отделения отличались большой смелостью делопроизводства).

К счастью Гуткова, правосудный государь Николай велел передать дело о нём в министерство юстиции. Последнее, разобрав дело, доложило государю, что нельзя без опасения поколебать основы государства, а равно без жалобы с чьей-либо стороны и помимо суда доискиваться, кто и как приобрёл себе состояние; что всякое, даже незаконное владение охраняется законом дотоле, доколе не будет доказано противное. Ввиду этого министр юстиции граф Панин по соглашению с графом Блудовым, управляющим Второго отделения собственной Е. В. канцелярии, доложил государю, что Третье отделение не могло домогаться и разыскивать о том, как купец Гутков приобрёл себе состояние.

Дубельт вернул добычу и отступил со скрежетом зубным. Против Панина и Блудова он идти не мог. Такие дела, он это понимал, следовало устраивать подале от Санкт-Петербурга. Но у него была ещё не одна завоеванная корчма.

Итак, он играл с величайшей серьёзностью, играл так же хорошо, упорно и цепко, с тою же сосредоточенной энергией, с какой вёл свои знаменитые следствия.

Из этой сосредоточенности его вновь вывел голос Геденова:

— Леонтий Васильевич, ты помнишь Аннет? Она недавно дебютировала в «Сильфиде».

— Как не помнить! — ответил Дубельт. — Я подарил ей коробку конфет и марципану в день ангела, глазки ~~её~~ ~~обещали~~ ~~многие~~ у ней были, как звёзды, и улыбка прелестная, но на

спектакле несколько разочаровался: ежели мой бинокуляр не врёт, то Аннет суха, как ревельская килечка.

— Помилуй, Леонтий Васильевич, кто же судит танцовщиц в бинокуляр? Неужели ты мальчик из кресел? Их нужно изучать au naturel.

Дубельт промолчал, поглощённый игрой. У него была сейчас одна цель: не дать своему лучшему другу выиграть.

— Правда, ручки и ножки у неё ещё слишком тонки, — продолжал Гедеонов, — зато посадка головы классическая, титёночки стоят, как заячьи ушки, а вся кожица атласная — ни пятнышка, ни зёрнышка!

Политковский загорелся:

— Не представишь ли её меня, Александр Михайлович?

— Боюсь я тебя, тёзка! — ответил Гедеонов. — Игрушка хрупкая, пружинка в ней тонкая, а ты с твоею брутальностью можешь ненароком пружинку сломать.

Гедеонов и Дубельт расхохотались, и к ним с тайным самодовольством присоединился Политковский. Отсмеявшись, Гедеонов сказал:

— Она у нас покамест на диэте, её ещё князь не смотрел.

— А когда смотрины?

— Да полагаю, через неделю. Если он найдёт её подобающей и подходящей под вкусы Юпитера, то наша нимфа будет занята месяц или два, больше там не задерживают. On n'aime que les prémices.

— Comment? — переспросил Политковский, чей французский язык был предметом анекдотов.

— Первиночки срывать, — пояснил ему Дубельт.

— И если она не понесёт, — закончил Гедеонов, — то мы к вашему услугам.

Это «мы» снова развеселило компанию.

— Аннет всё же мелковата, — заметил Дубельт, — а там любят величественных и высокорослых.

— Это верно, однако однообразие вредит здоровью, — докторальным тоном возразил Гедеонов.

Дубельт ничего не сказал. Он выигрывал.

Забастовали около полуночи. Политковский проиграл Дубельту полторы тысячи, Гедеонов остался при своих.

– Comme toujours! — с хохотом кричал Политковский, небрежно выкладывая и отсчитывая депозитки.

– Ужинать, господа! — сказал директор императорских театров. — Девчонки заждались!

Они перешли в столовую, где у накрытого уже стола их радостно встретили заскучавшие танцорки; хлопнула пробка, запенилось шампанское. Дубельт ел и пил со вкусом.

– Хорошо вам, друзья мои! — вздыхая, сказал он. — Вы можете до полудня нежиться в объятиях Морфея, а мне с утра опять идти с докладом к графу.

– Сочувствуем в твоих неусыпных трудах, но разве доля твоя не завидна? В твоих руках спокойствие державы.

– Я тоже хочу ловить заговорщиков! — заявила слегка охмелевшая Машенька, и всё захохотали.

Дубельт слегка ущипнул её талию, и польщённая девушка преувеличенно взвизгнула.

– Нет, нет! — заявил Гедеонов. — У меня новая идея! Катрин, принеси-ка нам колоду из кабинета!

И, обратясь к сотрапезникам, пояснил:

– Разыграем девчонок в карты!

Глава 3. Важные дела

– Новости из Саксонии, ваше сиятельство! — возвести Дубельт, едва переступив порог графского кабинета.

– Ну, и как? — живо спросил граф Орлов.

– Всем троим — смертная казнь повешением.

– Очень хорошо! *Asseyez-vous, mon ami.*

Дубельт занял своё обычное кресло.

– Однажды, — заметил он, — как бы они его и впрямь не вздёрнули! Ведь он нам самим нужен.

– Не беспокойтесь, Нессельрод уже снёсся с нашим посланником, и всё сговорено. Бакунина выдадут австриякам, он у них в Праге напрокудил. После австрияков он попадёт к нам.

– До чего дожили! — вздохнул Дубельт. — Главнейшие революционеры Европы все из наших подданных: Бакунин, Бем, Дембинский...

– А Кошут, а Маццини?

– Кошут в прошлом году трусу праздновал, а Маццини, хотя не робкого десятка и великий конспиратёр, не способен предводительствовать войсками.

– Пожалуй, в этом вы правы. Но приступим.

Дубельт выложил из своей портфели бумаги и подал графу брошюру:

– Полюбуйтесь, ваше сиятельство: парижская новинка.

– «Катехизис русского народа», — прочёл Орлов. — Но... это напечатано по-нашему, причём здесь Париж?

– Парижского тиснения. Вышла в прошлом году: ругательства и воззвание к революции в России.

– Такого ещё не бывало! — удивился граф. — Писано Искандером?

– Нет, это Иван Головин.

– Людовик Бонапарт даёт им волю. Этот президент — хитрая бестия.

– Людовик Бонапарт, — возразил Дубельт, — есть просто настырный мальчишка, *rien de plus!*

– Но ловок, весьма ловок. Кавеньяк в сорок восьмом году перестрелял всю каналью Антониева предместья, а Бонапарт

выдернул из-под него президентское кресло. Они там сдурели, думают, что племяннику переданся гений дяди.

– Да и племянник-то сумнительный.

– Думаете, от неправого ложа?

– Говорят, королева Гортензия прижила его от какого-то голландского адмирала.

– И такой ублюдок правит Францией! Хороша же ихняя республика, нечего сказать! Ну, и времена настали!

– Кстати, о временах, — вспомнил Дубельт. — Оставляя мелочи из европейских столиц, осмелюсь перейти сразу к нашей Белокаменной: камергеру Бразилевскому отказано во всех домах, ибо он высечен своими мужиками и дал им рукописание в том, что будет молчать.

– C est impossible! — вскричал граф Орлов.

– Извольте ознакомиться, ваше сиятельство.

Граф взял справку, прочёл и с отвращением отшвырнул.

– Сегодня же доложу государю.

– Следовало бы отобрать ключ у Базилевского.

– Ну, разумеется! Каков подлец! А что слышать в губерниях?

– Обычная цифра. Даже немного спокойнее: всё же зима. Вот рапорт о сельских волнениях.

– Если ничего экстренного, то оставьте себе. Я возьму брошюру Головина и справку о подлеце.

Дубельт вернулся к себе. В этот промозглый день жизнь в Третьем отделении была ключом. Двери экспедиций открывались и закрывались, сковали чиновникам, скрипели перья, порою появлялись сильные курьеры в промокших от снега шинелях. Одного из них провели прямо к Дубельту, который хорошо знал этого огромного жандармского капитана.

Оставшись наедине с генералом, гигант расстегнул сумку и подал ему два одинаковых пакета, каждый с пятью сургучными печатями. Дубельт спросил его о здоровье детей и разрешил провести неделю в Столице. Обрадованный офицер, гремя саблею и шпорами, улетел из кабинета, словно окрылённый; только тогда Дубельт позвонил.

– Михаила Максимовича ко мне, — коротко приказал он.

Один из пакетов он запер в своей секретер, другой оставил на столе. Вошёл Попов.

— Михаил Максимович, занесите в приход: здесь пятьдесят тысяч из Подольской губернии.

— Слушаю-с, ваше превосходительство, — значительно и с пониманием ответил Попов, принимая пакет.

Получение этих денег и было главным событием дня. Политковский давал ровный, хороший доход, но через игру, а посему приходилось тратить немало времени и делиться с Гедеоновым. В Петербурге деньги давались трудно.

В Подольской же губернии удалось наложить руку на Тульчин и Ольховатское — громадные и богатейшие поместья графа Потоцкого.

Дубельт глубоко презирал этого миллионера. Граф Метислав Потоцкий женился по любви на простой дворянке Швейковской, но затем проявил к ней грубость и пожелал развестись. Римско-католическая церковь запрещает развод, а посему Потоцкий перешёл в православие, из Метислава ставшим Михаилом.

Своевольный магнат думал своим снискать расположение и поддержку русских властей. Он выгнал жену из дома и перестал давать ей деньги. Однако Россия любила порядок и благонравце; в дело Потоцкого вмешалось Третье отделение — потому что Дубельт был признанным пастырем поляков и по дружбе его с Бибиковым, наместником Юго-западного края. Михаил Потоцкий за буйный нрав, жестокое обращение с женой и сыном и за стеснение их в средствах к жизни был удалён от места жительства: Дубельт сослал его в Саратов. Громадное имение Потоцкого было взято в администрацию Третьего отделения, для каковой цели чиновник одного уже несколько лет управлял Тульчином и Ольховатским.

Дубельт, как человек благородный, строго следил за тем, чтобы графиня Потоцкая с сыном не испытывали материальных стеснений. Доход же поднадзорного графа Михаила был ограничен. Остальное поступало в Петербург, на Фонтанку, и не контролировалось никем в мире, кроме Дубельта. Почему-то дело о разводе графа Потоцкого лежало в Синоде без движения.

...Не успел Дубельт, оставшись наедине, проверить второй пакет и переложить деньги, как снова появился Попов.

— Ваше превосходительство, прибыла посылка из Пскова!

— Однако они не слишком торопились, — заметил Дубельт.

По живости характера он не утерпел и вышел в приёмную — посмотреть на долгожданную «посылку». Дежурный чиновник выписывал квитанцию хмурому офицеру в голубом мундире. При виде генерала он вытянулся и начал рапорт, но Дубельт прервал его:

— Вольно, ротмистр! Что не скоро?

— Дорога плоха, ваше превосходительство! Слякоть.

Дубельт кивнул и повернулся к «посылке». Это была дородная мешанка в ковровом платке и салопе; она очумело тарашилась на маленького генерала с быстрыми движениями и длинными усами. Как только его пронзительные глаза остановились на мешанке, кровь отхлынула от её толстых щёк.

— Полно-те глазами-то блыгать, — сказал Дубельт. — Чай, видала генералов? Как зовут-то?

— Меня-то?

— Тебя, красавица, тебя

— Купырёва Анисья

— Ну, пойдём, Анисья, пойдём сердешная!

— Куды-ы-ы? — взвыла мешанка, вмиг залившись слезами.

— Ко мне пойдём, разговор будет. Да не умывайся ты слезьми, побереги их для другого раза, краля ты моя бубновая! Дайте ей стакан воды!

Он вернулся в кабинет и вызвал секретаря, тихого и мрачного чиновника неопределённых лет, с фальшивым бриллиантом в булавке галстука. Через минуту привели притихшую мешанку, уже без салопы. Дубельт усадил её лицом к окну и начал свой допрос.

Псковская мешанка Купырёва проходила по секретному и страшному делу. Оно возникло еще в 1846 году из любви государя к театру.

Двор тогда пребывал в Гатчине. Среди обычных развлечений двора поставлен был какой-то популярный водевиль; государь, очень любивший водевили, сам сыграл в нём роль

булочника Карла Ивановича. Как известно, в Петербурге все булочники — немцы.

Примерно через полгода от почтовых чиновников, ведавших перлюстрацией частной переписки, поступила к Дубельту новость об одном недоумении: в письмах совершенно разных лиц упоминался некий Карл Иванович — судя по содержанию, имеющий жительство в столице и большое влияние на дела. Чиновники терялись в догадках, о ком идёт речь. Прибегнув к подслушиванию в театрах и кофейнях, Дубельт установил, что Карлом Ивановичем называют государя. Граф Орлов и Дубельт пытались скрыть эту страшную новость, надеясь, что глупая шутка угаснет сама собой, однако новое прозвище государя разошлось по всей России.

Дошло до самого государя. В гневе он отдал приказ: во что бы то ни стало найти человека, который дерзнул назвать его Карлом Ивановичем. Расследование это было безнадежно: так говорили все. В переписке петрашевцев, членов Кирилло-Мефодиевского братства, в любых застольных беседах — всюду упоминался «Карл Иванович».

Две недели назад к Дубельту поступил анонимный донос из Пскова с новыми деталями, и в результате мещанка Купырёва сидела теперь под сверлящим взглядом голубого генерала в серебряных эполетах.

— Скажи, Анисьюшка, — спроси Дубельт, где ты гуляла на Рождество?

— У кума Митрофана.

— Много ль народу вас было?

— Да почитай две дюжины, батюшка.

— А что ты пила?

— Да почитай не пила: рюмки две сладкой водки да столько ж мадеры

— А с кем рець вела?

— Нешто упомнишь, батюшка? Со всем помалу.

— Припоминаешь, Анисьюшка, как ты сказывала, что в одном доме в Питере сидит немец Карл Иванович и что бабка его немка по сей день живет на Галерной, а зовётся Амалией?

Мещанка открыла рот и с ужасом уставилась на Дубельта.

— Отвещай, Анисья: говорила такое?

Мещанка бухнулась ему в ноги:
– Отец, кормилец, не погуби!
– Значит, говорила?
– Не своё говорила, отец, повторила, что слыхала на торгу!
– На торгу? — переспросил невнимательно Дубельт. — От
кого?

– Не помню, святой истинный крест, не помню.
– Встань, Анисьюшка!
– Не встану, покуда не простишь.
– Ну, тогда лежи. Допреть кнута не отведывала?
– Помилуй, я цестная вдова!
– Детки есть?
– Как не быть, трое.
– Жалко мне твоих деток. Ежели не хочешь отвесть кнута,
ступай-ко в казённую светёлку и до завтрага вспомни, от кого
слыхала те поносные речи. Поняла?

Баба поднялась с пола и сверху вниз поглядела на
Дубельта. Заплаканные, тусклые глаза её казались спокойными;
спокойствие это не понравилось генералу. Он вызвал жандармов и
велел увести вдову.

– Как ты думаешь, вспомнит? — спросил он протоколиста.
Поющий и мрачный чиновник, журавль в очках, тихо
ответил:

– Никак нет, ваше превосходительство, эта не вспомнит.
Напрасно время тратим.

– Время терпит. Надобно, чтобы вспомнила.
Дубельт ценил проницательность этого опытного
чиновника, однако надеялся обломать дуру из Пскова.

Перед обедом он почти час провёл наедине с одним
путешествующим англичанином, которого звали мистер
Макинтош. Это был рыжий верзила в синих очках и с огненными
бакенбардами.

Однако в кабинете Дубельта он снял свой новомодный
боулер (шляпу=котелок) и синие очки, обнаружив светло-
каштановые волосы, совершенно иного цвета, нежели бакенбарды.
Он повесил свой зонтик на спинку кресла и сказал:

– I am very glad to see you, Sir.

— Не ломайте язык, господин Макинтош, — с улыбкой ответил Дубельт.

Гость с вопросительным выражением глянул на дверь.

— Садитесь, — сказал Дубельт, — у меня не подслушивают.

— Страсть охота курить, — сказал англичанин, усаживаясь.

— Закуривайте, — разрешил генерал, доставая свою трубку.

Они комфортно закурили, и Дубельт спросил:

— Итак, какие новости у графа?

— Помирились с Варварой Аркадьевной.

— Неужто? Ведь он её на той неделе стервой обозвал!

— Я сам слышал. Хотя дверь спальни была закрыта, голос у графа слишком зычен, далёко слышать. А нынче помирились. Sein Schuld ist absolviert.

— Видать, он ей нужен.

— Jawohl, Кто же, кроме него, станет платить за парную с шампанским?

— Это что-то новенькое, — удивился Дубельт.

— Неужто не слышали? Теперь господин Вонлярлярский, когда в бане моется, пару поддаёт шампанским вместо квасу. Бутылочки три они вдвоём выпивают.

— Кто это — они?

— Да как же-с? Господин Вонлярлярский с означенной особой. Они вместе парятся: конечно, если у него нет гостей.

— И от людей страха не имеют?

— Ну, что вы, они кроются. Одна только горнишная им прислуживает.

— А как же вы-с, мой драгоценный, о том знаете?

— Право, конфужусь, сказать ли вам...

— Да уж скажите, сделайте такую личность! — с нежной угрозой канючил Дубельт.

— Эта самая горнишная Варвары Аркадьевны питает сердечную склонность к моей персоне.

— Ах, провор! — вскричал Дубельт, симулируя восхищение. Гость самодовольно засмеялся!

— Um Uottes Willen, говорите потише!

— Я ж вам сказал, у меня не подслушивают. Как же они помирились?

– Yanz einfach, обычным маниром... После обеда, как вы знаете, граф уходил отдыхать в опочивальню. Поелику за обедом он пьёт вино и по халерческой своей натуре, в эти часы у него приключается амурная охота. Варвара Аркадьевна чуть не всякий день входит к нему.

– Он хоть шлафрок-то вздевает?

– Граф принимает её лёжа.

– Ну, и...?

– Беседуют-с. Все главные дела там и решаются.

– Но ведь она же, говорят, опять чревата! — вспомнил Дубельт.

– Das ist egal. Можно рыбку съесть.

Дубельт посмотрел на гостя. Типично петербургское лицо — длинное, гладко выбритое и цинически невозмутимое. От него пахнет бифстексом, о-де-колоном и добрым табаком. И не понять, кто они, какого роду-племени: немец, русский или чухна... Потому как нет на свете племени ловчее и переимчивее, чем хорошо вышколенный петербургский лакей. Накладные бакенбарды, фальшивый немецкий акцент и лондонская спесь!

– Следовательно, золотая река по-прежнему протекает в Смоленской губернии? — спросил Дубельт.

– Ненадолго её запрудило: nur eine Woche.

Они еще немного поговорили об этом странном трио: Клейнмихель, Варвара Нелидова, Вонлярлярский. Зачем генерал выплатил гостю 300 рублей и любезно отпустил его.

Надев синие очки и боулер, застегнувшись на все пуговицы, камердинер Клейнмихеля снова превратился в англичанина. Открыв дверь кабинета, он с порога сказал Дубельту:

– Шелаю сесдрастовать, мой дженерал!

– Au revoir, господин Макинтош! — отвечал Дубельт.

Наступило время обеда. На сей раз он поехал не в самый шикарный ресторан столицы, а к знакомой немке на Васильевский остров. Когда-то он сам привёз в Петербург эту фаянсовую куколку и помог ей обосноваться; спустя пятнадцать лет раздобревшая и слегка полинявшая куколка сохраняла всё тот же нежный трепет перед генералом. Он использовал её квартиру для секретных деловых свиданий.

Через пять минут после Дубельта прибыл полицейский поручик, любовница которого торговала в Апраксином дворе.

Разговор оказался трудным. Поручение Дубельта испугало полицейского.

— Кирюха и Шестопап суть подлинные враги общества, ваше превосходительство! Ежели они вырвутся из клетки, хлопот с ними не оберёшься. И так по трактам проезду нет, а с ними...

Дубельт резко прервал его и намекнул на высшие политические соображения. Поручик ломался долго. Наконец, Дубельт потерял терпение.

— Ну, что ж, голубчик! — сказал он. — Ежели вам сие не под силу, то я ведь найду другого помощника. Но с вами уж тогда нам придётся расстаться, и на субсидию мою более не рассчитывайте.

Офицер испугался.

— Помилуйте, ваше превосходительство! Без вашего благоволения я окажусь как рак на мели! Без вас мне не житьё! Поймите, я же не отказываюсь, я лишь говорю, что дело очень трудное, хлопотное и... и... накладное.

— Ах, боже мой! — небрежно сказал Дубельт, вынимая из кармана книжник. — когда же я стеснял вас в финансовых средствах? Говорите вашу сумму!

— Ваше превосходительство, многих надо будет смазать.

— А вот это уже вздор! — прервал генерал. — Не более двух сотрудников и ни слова о том, откуда исходило поручение. Сделать всё дерзко, быстро, без всякого шума! Назначил место, час, минуту — их будет ожидать извозчик, которого не догонит никто. Конвой должен быть пьян, а командир его крив. Вы меня понимаете?

— Так точно, ваше превосходительство!

И они погрузились в обсуждение деталей предстоящей операции.

По возвращении в Третье отделение Дубельт нашёл на своём столе письмо от друга: Гедеонов просил его вечером быть в Большом ~~Мариинском~~ театре, в ложе Политковского, обещая блестящий спектакль.

Полчаса Леонтий Васильевич занимался итальянской бухгалтерией, подсчитывая доходы и расходы последних дней.

Вышло активное сальдо, примерно сорок пять тысяч. Не каждый месяц так бывает.

Дубельт уехал домой несколько ранее обычного. Он присоединил толстую пачку денег к своему «секретному фонду», съел не слишком обильный, но плотный ужин, тщательно подготовился к вечеру. В театр он приехал немного ранее обычного, поскольку желал увидеться с Гедеоновым наедине, до начала спектакля.

Знаменитый зал постепенно заполнялся. Повсюду жужжала лёгкая болтовня: политика, моды и сплетни. Говорили о нашумевшей речи Донозо Кортеса, маркиза Вальдегамаса: 30 января по европейскому календарю (18 по русскому) он выступил в Мадриде в Законодательном собрании, и заявил, что католическая вера — единственное спасение от социализма. Особенно нападал Донозо Картес на учение Прудона, знаменитого социалиста, сидевшего в одной из тюрем Парижа; маркиз видел в этом учении крайнее воплощение всех пороков цивилизации. Спорили без особого увлечения, кто является тайным. Вождём европейской революции: Прудон, Бакунин или Маццини?

Дубельт дружески раскланялся с литератором Борисом Алексеевичем Врасским, чиновником особых поручений Третьего отделения. Врасский рассказал ему кучу свеженьких сплетен. Особенно позабавила генерала история о знаменитой красавице Мари Столыпина.

Мари Столыпина, урождённая княжна Трубецкая, овдовела в 1847 году. Ещё при жизни мужа, флигель-адъютанта Столыпина, она состояла в связи одновременно с князем Александром Барятинским и с «другим Александром» (т. е. с наследником цесаревичем Александром Николаевичем). Оба Александра пользовались благосклонностями этой циничной красавицы с ведома друг друга, не нарушая через то своей взаимной приязни.

— В 47-м году князь Александр Иванович уехал на Кавказ, а в скором времени умер Столыпин, — вполголоса рассказывал Врасский. — Она внушала цесаревичу устроить её брак с князем, и вы догадываетесь, ради чего.

— Ещё бы! — пробормотал Дубельт. — Майорат Барятинских, шестнадцать тысяч душ мужского пола.

— Совершенно верно, заповедное имение неслыханной красоты, бывшие владения гетмана Мазепы. Цесаревич вызвал князя Александра Ивановича в Петербург, но князь, узнав о приготовленной ловушке, почти весь отпуск проболел в Туле и вернулся в Тифлис. Второй раз он был вызван в столицу уже не честным письмом цесаревича, а по делам службы — военным министром. Разумеется, тоже по воле цесаревича.

— Да, я помню, это было недавно.

— Отвертеться князь не мог, но знаете, что он сказал, что он сделал? В сочельник приехал на ёлку к своему брату Владимиру и повесил на ветку пакет на имя брата. Тот распечатывает пакет — в нём нотариальный акт: отречение от майората в пользу князя Владимира Ивановича с одним условием — выплатой семи тысяч рублей серебром в год.

— Так заповедное имение перешло к князю Владимиру?

— Ну, конечно! И Столыпина отступилась. В свете очень много смеются. Вы знаете, её ведь не любят...

— Многие восхищаются ею, — возразил Дубельт. — В тридцать лет она всё ещё замечательная красавица.

— Ещё одна причина осуждать: слишком красива, слишком умна и слишком независима в своих манерах. Ба! Смотрите, вот наш петербургский Монтекристо!

Весь зал поднял бинокли и лорнеты: в своей роскошной ложе появился камергер Политковский.

— Я должен нанести ему визит, — сказал генерал. — У него назначил мне встречу господин Гедеонов.

— Компания счастливых! — сказал Врасский.

— Ах, боже мой, в свете всё преувеличивают, — ответил Дубельт. Он отправился в ложу Политковского и застал его в окружении нескольких прихлебал второго разряда, которые при виде генерала один за другим «стушевались», как теперь говорили в Петербурге вместо лова «исчезли». Политковский и Дубельт выпили по бокалу шампанского.

При начале балета появился Гедеонов.

— Итак Леонтий Васильевич, мы тебя похищаем, — сказал он, нынче наша карбонарская вента собирается в доме Батюшкова.

В трёхэтажном доме Батюшкова на площади Большое театра жил Политковский.

— Хозяйскою вечера будет мадмуазель Эрнестина? — спросил Дубельт.

— Нет, — ответил Политковский. — У неё нынче тоже спектакль, и она будет отдыхать у себя. Сегодня угощает Александр Михайлович.

— *Le petit sérail*, — пояснил Гедеонов.

— Морвёзочки? — оживляясь, спросил Гедеонов. — Я так и думал!

Политковский шепнул ему на ухо:

— Афинский вечерок! Мы будем крестить в шампанском...

Но имени Дубельт не расслышал, потому что весь театр разразился бурей рукоплесканий: на сцене появилась сама Фанни Эльслер.

IV. Весе́ние Неприятности

Уже в феврале 1850 года в Санкт-Петербурге началась кислая и грязная весна, а с нею пришли неприятности.

Однажды граф Орлов, принимая Дубельта, показал ему парижскую газету с удивительной новостью: в Париже префект полиции Карлье приказал спилить все «деревья свободы», посаженные во время последней революции.

— Республика хочет образумиться, — сказал граф.

Взамен Дубельт показал своему патрону письмо от Василия Алексеевича Перовского, члена государственного совета.

Василий Перовский был человеком знаменитым. Брат министра внутренних дел Льва Перовского, Василий Алексеевич в прошлом прославился на посту оренбургского военного губернатора; в Оренбурге он жил, как король. Последняя его кампания против степных орд оказалась неудачной, но Василий Алексеевич не оставил своих завоевательных планов, и государь сильно к ним прислушивался.

К тому же Василий Перовский был близким другом поэта Жуковского, которого считал своим другом Дубельт. И хотя Жуковский давно жил в Германии со своею молоденькой женой, между Перовским и Дубельтом существовали отношения приятельного «бон-тона».

— О чём он просит? — спросил граф Орлов.

— О разрешении рядовому Оренбургского линейного батальона Шевченке заниматься рисованием.

— Это невозможно. Государь запретил ему писать и рисовать.

— Нельзя ли переговорить с государем?

— Немыслимо. Он сейчас не в такой диспозиции, он крепко запомнил Шевченка и считает его неблагодарным мерзавцем, которого напрасно выкупили из крепости. Перовский впервые написал вам?

— Да, ваше сиятельство.

— Княжна Репнина заговаривала со мной о Шевченке. За него хлопочут.

— Перовского явно уговорили его племянники: граф Толстой да братья Жемчужниковы, — заметил Дубельт.

— Нет, невозможно. Напишите ему, что о Шевченке говорить с государем нельзя.

Вследствие этой беседы Дубельт написал Василию Перовскому преисполненное извинениями письмо. Оно начиналось словами: «При всём искреннем желании сделать в настоящем угодное Вашему высокопревосходительству...»

И далее он сообщал, что в деле Шевченки рассчитывать на снисхождение государя не приходится. При этом Дубельт выражал глубокое сожаление.

В том же феврале месяце весь Петербург был взволнован необычайно дерзким побегом из-под стражи двух разбойников — Кирюхи Волочайкина и Ваньки Шестопалова. При переводе их для допроса из тюремного замка в судебную канцелярию, в три часа пополудни, нивесть откуда взялись три сообщника этих злодеев и оглушили конвой медными наручными колотушками. Десяток обывателей наблюдал эту возмутительную сцену. Кирюха и Ванька Шестопал прямо в кандалах прыгнули на извозчика, который как нарочно их дожидался, и тут же исчезли из виду. Один из солдат конвоя умер в больнице, прочие отлежались.

Вообще воровство и грабежи чрезвычайно умножились и в провинции, и в обеих столицах. Поскольку печать молчала об этом и газетчиков наказывали даже за публикацию заметки о том, что пьяный извозчик опрокинул ездока, то недостаток сведений возмещался слухами. Устные газеты не подчинялись цензуре и допускали крайние преувеличения; публика жила в постоянном испуге. Начинали поговаривать о том, что граф Перовский стареет, что воры делятся добычей с полицейскими сыщиками, что полиция вообще занимается не своими делами.

— В полиции неблагополучно, — поговаривали при дворе.

Граф Лев Алексеевич принимал крутые меры, но положение не улучшалось. Много преступлений совершалось в мире коммерции и по откупам; купечество умело откупиться от чего угодно.

— Как всё это неприятно! — приговаривал Дубельт, рассказывая графу Орлову об очередном ограблении в Петербурге.

Граф хмурился и молча грозил ему пальцем.

Европа постепенно успокаивалась после неудачных революций. В апреле 1850 года папа Пий IX вернулся из Гаэты в

усмиренный французами Рим. В конце мая Законодательное собрание в Париже отменило всеобщее избирательное право.

— Они упразднили универсальный *сюффраж*! — сказал граф Орлов Дубельту. — Республика образумилась.

— Будет ли нам на пользу, если Людовик Бонапарт усилится? — спросил Дубельт. — Разве не ясно, что он тайком примеряет корону?

— Этого он не посмеет, — возразил Орлов. — И Англия этого не потерпит: ведь англичане уморили Наполеона на Святой Елене, а посему племянничек, хоть и сумнительный, может быть им опасен.

Но главные неприятности года были впереди.

7 июня 1850 года военное министерство получило из Оренбурга рапорт корпусного командира Обручева. Военный министр князь Чернышёв, он же председатель Государственного совета, немедленно доложил об этом рапорте государю. Обручев писал: «Ныне мне сделалось известным, что будто бы означенный рядовой Шевченко ходит иногда в партикулярной гражданской одежде, занимается рисованием и составлением стихов».

В тот же день возмущённый государь распорядился передать рапорт Обручева со всеми приложениями в Третье отделение, а Шевченко арестовать и подвергнуть строжайшему допросу. Приказ тотчас пошёл в Оренбург.

8 июня граф Орлов писал государю: «Ваше величество изволили мне вчера говорить о деле Шевченко в Оренбурге, которое я получу от военного министра, но я его ещё не получил... Я, как рассмотрю бумаги от военного министра, составлю о сем деле доклад Вашему величеству, и к сожалению, нахожу, что, вероятно, придётся несколько лиц подвергнуть допросу, а может статься, и аресту...»

Из этой записки видно, что Третье отделение планировало аресты ещё до знакомства с делом. Ведь полезность политической полиции измеряется числом арестов: если она долгое время никого не хватает и не допрашивает, то значит — спит.

На другой день в кабинете графа Орлова три человека тщательно просматривали бумаги, полученные из канцелярии графа Чернышёва: это был сам граф, генерал Дубельт и старый Адам Сагтынский, польский граф, чиновник особых поручений

при графе Орлове. Он принадлежал к тем немногочисленным полякам, которым в Петербурге жилось гораздо ~~епожойнее~~ лучше, чем в Варшаве.

Документов деле Шевченко оказалось немного (Дубельт догадывался, что дело нечисто; преступник, видимо, был предупреждён). Но письмо, полученное Шевченко от некоего Левицкого, составило драгоценную улику.

— Смотрите, ваше сиятельство, — сказал Дубельт, подчёркивая одно место в письме карандашом.

— Опять «Карл Иванович»? — воскликнул Орлов. — Ах, мерзавец!

— Он там пишет о большом числе своих единомышленников.

— Всё понятно! — сказал граф Орлов. — Кажется, у нас будет ~~большее~~ хорошее дело. Надо будет взять этого Левицкого и ещё этого... как бишь его?

— Головка, — подсказал Сагтынский чуть слышным голосом, заглядывая в письмо через плечо шефа жандармов.

— Ясно, что это опять украино-славянское братство, вроде киевского, — заметил Дубельт, — или его филиация. Левицкий и Головка — это ~~украинские~~ малороссийские фамилии.

— Тайное общество! — мечтательно сказал граф Орлов. — Готовьте доклад на Высочайшее имя, Леонтий Васильевич!

13 июня доклад был готов. Дубельт и Орлов привели в нём угрожающие цитаты из письма Левицкого: «много есть тут наших», «есть до тысячи человек, готовых стоять за всё» и т. п. В докладе предлагалось немедленно арестовать коллежского секретаря Левицкого и упомянутого в его письме магистра Головка.

14 июня государь наложил на доклад резолюцию: «Исполнить».

15 июня Дубельт отдал распоряжение об аресте Левицкого и Головка. Эти аресты были поручены опытнейшим офицерам.

16 июня в 11 часов утра Сергей Левицкий был уже доставлен в каземат и помещён в камеру № 6.

Но с магистром Головка всё сложилось иначе. Он жил в доме купца Форстрема по Мало-Конюшенной улице, во флигеле,

на втором этаже. В 8 часов утра жандармы поднялись на второй этаж; их вёл полковник Левенталь.

Им отворил сам Головки: прислуги у него не было. Осанисты полковник Левенталь, глядя сверху вниз на худого и бледного Головки, сразу же объявил:

— По высочайшему повелению вы арестованы.

— Сейчас я оденусь, — спокойно ответил Головки, придерживая халат на груди.

Он вышел в соседнюю комнату; Левенталь последовал за ним. Это была узкая полутёмная спальня с одной простой кроватью и столиком у окна. Левенталь сразу увидел, что здесь нет никаких бумаг, и вернулся в первую комнату, оставя при Головки квартального надзирателя. Полковник начал рыться в письменном столе.

Среди конспектов лекций по физике, математике и философии Левенталь заметил литографированную тетрадь с текстом философского содержания; листая её, он заметил надпись на полях: «Н. Момбелли». Далее та же надпись повторялась ещё в нескольких местах. Левенталь, состоявший по особым поручениям при графе Орлове, прекрасно знал, что Момбелли был одним из самых крайних участников общества Петрашевского и ныне отбывает каторгу в Александровском заводе. Это была первая удача!

И увы, последняя.

Потому что в этот миг из спальни выскочил квартальный с белыми от ужаса глазами; за ним появился Головки, уже одетый, с пистолетами в руках.

Грянул выстрел. Жандармов как ветром вынесло в прихожую, и Головки захлопнул за ними дверь. Щёлкнул задвигаемый засов.

— Все целы? — тяжело дыша, спросил Левенталь.

— Кажись... все...

— Он ума рехнулся, не иначе! — вскричал квартальный, на котором всё ещё лица не было.

В этот миг за дверью грохнул второй выстрел. Все переглянулись.

— Плохо дело, — сказал старый жандарм. — Если кто палит в одиночку, то...

— Ломайте дверь! — гаркнул внезапно окрепшим голосом полковник Левенталь.

Когда дверь взломали, взорам представился Головки. Он лежал на полу между диваном и трюмо; голова его плавала в луже крови. Он пустил пулю себе в лоб.

«Смерть Головки положила преграду к совершенному раскрытию дела», признавался граф Орлов в рапорте об этой неудаче. Государь был крайне раздражён глупостью жандармов.

Дубельт ограничился тем, что сказал растерянному и униженному Левенталю:

— Главное дело при аресте, полковник, это удостовериться, что в доме нет оружия. Бумаги — это всё же второе. Ступайте, полковник.

Ещё целую неделю граф Орлов лично допрашивал Сергея Левицкого, пытаясь вытянуть из него достаточно материала для новых арестов и для обнаружения общества. Левицкий показал, что покойный Головки сочувствовал недавним европейским революциям и питал симпатии к Французской республике.

Несколько раз были заново обысканы квартиры Левицкого и Головки в поисках новых улик: всё тщетно. Дубельт допросил всех прикосновенных лиц. Студент Григорий Данилевский показал, что у Головки происходили собрания с чтением вслух и обсуждением каких-то книг и манускриптов. Никого из участников этих собраний Данилевский не знал.

Настенька, сестра Левицкого, показала, что Головки давал уроки математики княгине Голицыной, но та отказала магистру ввиду его революционных речей.

Всего этого не хватало на заговор. Один свинцовый шарик, пущенный твёрдой рукой Головки в его отчаянную голову, разрушил все планы Орлова и Дубельта. Приходилось бить отбой.

— Да не было никакого общества, — заявил Дубельт своему шефу, — Левицкий в письме просто хвастался, желая ободрить Шевченка и внушить ему надежду, хотя бы и несбыточную.

Очередной рапорт Орлова государю гласил: «Настоящее дело не открывает никакого преступления, и решительно могу сказать, что ничего не вижу в нём политического». Самоубийство Головки граф объяснил раздражительным характером и

болезненным состоянием магистра, который «был весьма беден, тяготился жизнью и углублялся в мысли о смерти». Граф опустил показания студента Данилевского о сходках у Головки, но решительно добавил: «ум его оказался в расстройстве, и знакомые считали его не иначе, как сумасшедшим».

О коллежском секретаре Левицком граф отзывался как о человеке, который «не обнаруживает в себе больших способностей и ничего, что бы заставляло предположить в нём опасного человека».

В заключение граф писал: «Нет никакого основания предполагать, чтобы Головка принадлежал к какому-либо обществу или приуговлялся к каким-либо преступным действиям».

Дубельт и Орлов закрыли неудавшееся дело.

23 июня граф Орлов составляет заключительный доклад: «По тщательном, самом внимательном разборе наималейших обстоятельств убедился в том, что это дело не заключая в себе политического, есть только сплетение различных весьма обыкновенных событий, не ведущих к опасению насчёт всеобщей безопасности».

24 июня государь прочёл этот доклад и совершенно успокоился.

Княжне Репниной Третье отделение направило следующее письмо:

«Секретно.

Милостивая государыня,

Княжна Варвара Николаевна!

У рядового Оренбургского линейного №5 батальона Тараса Шевченко оказались письма Вашего сиятельства; а служащий в Оренбургской пограничной комиссии коллежский секретарь Левицкий, в проезд через Москву, доставил к Вам письмо от самого Шевченко, тогда как рядовому сему Высочайше воспрещено писать; переписка же Ваша с Шевченко, равно и то, что Ваше сиятельство ещё прежде обращались и ко мне с ходатайствами об облегчении участи упомянутому рядовому, доказывает, что Вы принимаете в нём участие... По Высочайшему Государя Императора разрешению имею честь предупредить Ваше сиятельство как о неуместности такового участия Вашего к

рядовому Шевченко, так и о том, что вообще было бы для Вас полезно менее вмешиваться в дела Малороссии, и что в противном случае Вы сами будете причиною, может быть, неприятных для Вас последствий...

Граф Орлов»

Летом 1850 года, проезжая через Чернигов, орлов вызвал к себе Андрея Лизогуба и кратко запретил продолжать ему переписку с Шевченко.

Что касается самого Шевченко, то приказ об его аресте, исходивший от самого государя, был получен Обручевым в Оренбурге как раз 23 июня 1850 года (через пятнадцать дней после отправки из Петербурга). Шевченко был тотчас арестован и отправлен по этапу в Орскую крепость, где заключён в каземат. Начальству его было сделано внушение, а Шевченко перевели в более отдалённый первый линейный батальон, того же Оренбургского отдельного корпуса, стоявший в Новопетровском укреплении на полуострове Мангышлак.

Тем и закончилось это неприятное дело. Дубельт вздохнул с облегчением. В последнее время ему не везло.

Ещё в феврале он приказал отпустить обратно во Псков под надзор полиции мещанскую вдову Анисью Купырёву, которая начала скверно кашлять, но никаких показаний не дала. Она по-прежнему была уверена, что государь — немец, что его настоящее имя — Карл Иванович и что его старая бабка по сю пору живёт в Галерной улице. Но сделать из её глупости хоть какое-то дело казалось Дубельту комическим уродством. Он не хотел быть смешным.

— Ты, Анисья, знай — помалкивай, — сказал он ей на прощанье, по привычке имитируя псковский говорок, — не то закуют тебя в чапоцки и отправят по Владимирскому трахту в далёкую прогулоцку.

Она молча плакала, хлюпая кровью в горле. В Петербурге ей не климатило.

После всех этих треволнений в Третьем отделении наступило затишье. Петербургская публика разъехалась по дачам.

12 июня 1850 года (по европейскому календарю) саксонский король помиловал Бакунина и двух других осуждённых, заменив смертную казнь пожизненным заключением.

Тотчас же после этого Бакунин был выдан Австрии и посажен в крепость Ольмюц. Его заточили в строго изолированную камеру и приковали цепью к стене; караул, денно и ночью стороживший знаменитого узника, состоял из двадцати пяти солдат.

Глава V.Благородство государя императора

«Россия велика и сильна, русский царь
у себя дома — бог земной!»
(Генерал-лейтенант Дубельт).

В 1850 году горный начальник Разгильдеев, выезжая из Нерчинского завода в Петербург, взялся передать письма государственных преступников Петрашевского и Львова их родным. В Петербурге Разгильдеев передал письмо Петрашевского знакомому жандармскому офицеру, а тот — генералу Дубельту. Письмо дошло до государя, который внимательно с ним ознакомился. Петрашевский писал матери и рассказывал подробно, что с ним было в крепости.

Как рассказывали в Петербурге, государь выразил презрение к Разгильдееву, сказавши:

— Если письмо он взял как честный человек, то он его должен был доставить по принадлежности. Он мог поступить также как лицо официальное, передавая формально письмо, но устранив из него вещи щекотливые. En tout cas, так как он поступил с этим письмом, — поступил как подлец.

Правда, Разгильдеев получил пожизненно пенсию сверх служебной, но репутация его сделалась ужасною: все твёрдо верили, что государь назвал его «подлецом». О великодушие и рыцарском благородстве императора Николая ходили легенды.

В августе 1850 года государь с великолепной свитой посетил Берлин. Прусский король Фридрих-Вильгельм IV, внук Фридриха Великого и родной брат русской императрицы Александры Фёдоровны, устроил императору Николаю Павловичу пышную встречу и оказал ему чрезвычайное почтение.

Незадолго до этого император Николай прямым своим давлением восстановил мир на севере Германии. Вторая датско-прусская война в 1849 году привела к тому, что пруссаки оккупировали юг Ютландского полуострова. Однако русский царь не хотел усиления Пруссии: под угрозой русских штыков пруссакам пришлось уйти из Дании.

Принципы германской политики Николая I были глубоко продуманными. Он хорошо понимал, что Австрия дряхлеет, а

Пруссия поднимается; именно поэтому в борьбе двух извечных соперниц за первенство в Германии он поддерживал Австрийскую империю. Габсбурги не пугали царя Николая, он ощущал духовное родство с их ~~самодержавной~~ системой, а в Пруссии с 1848 года сохранялась конституция и либеральные профессора открыто проповедовали гегелизм с высоты университетских кафедр. Австрийскую конституцию царь не принимал всерьёз. Именно ради поддержания баланса в Германии царь в 1849 году спас Австрию, уничтожив венгерскую революцию. Ради того же баланса он заставил прусского короля вывести войска из датских владений.

После долгих переговоров Фридрих-Вильгельм IV подписал с Данией Берлинский мир. 2 июля 1850 года; условиями трактата был восстановлен *status quo ante bellum*. Визит царя в Берлин явился как бы наградой за послушание.

Взаимоотношения петербургского и берлинского дворов обрели характер прежней сердечности. Князь Шварценберг, глава австрийского правительства, ревниво наблюдал за родственными объёмами царя с королём, за балами и парадами в честь русского гостя, которого вся Европа уже признала арбитром Германии.

На всём континенте только одна страна проявляла по отношению к царю отдалённые признаки строптивости. Натурально, то была Французская республика. Она принимала польских эмигрантов, и летом 1850 года Генрих Денбиинский, покинув Турцию, явился в Париже. Правда, одновременно правительство республики выслало Искандера-Герцена.

Французы жили своими заботами и не мешались в европейские дела. 18 августа 1850 года президент Луи Бонапарт совершил поездку по департаментам; повсюду его встречали восторженные толпы. Когда агенты Бонапарта начали кричать «Да здравствует император!» — толпы простонародья охотно подхватили этот клич. А 10 октября 1850 года на президентском смотре в Сатори кавалерия кричала перед Бонапартом «Да здравствует император!» — пехота же продефилировала молча, как и предписывал устав французской армии.

За этой вознёй с гордым недоверием наблюдал русский царь. В этом году у него возникли дипломатические трения с Францией. Президент Бонапарт заявил султану Турции, что желает

сохранить и возобновить давние права и преимущества католической церкви в храмах Иерусалима и Вифлеема. Султан согласился, но русским послам в Константинополе был заявлен резкий протест: Россия напомнила о преимуществах православной церкви перед католической на основании условий Кучук-Карнаджийского мира. Начался затяжной спор о Святых Местах, находившихся во владении султана. Дипломатическая переписка между тремя столицами то усиливалась, то затухала. Царь Николай I стоял на своём, демонстрируя обычную твёрдость воли.

В 1850 году во Франции был спущен на воду военный пароход — фрегат «Наполеон», поразивший воображение публики и вызвавший почтение у моряков. Длина его корпуса составила сто восемь аршин с лишним (или, по французской системе, 77 метров), а скорость достигла 11 узлов. Он нёс 92 орудия и, благодаря своей машине, не зависел от ветра. Англичане тотчас начали строить такой же боевой пароход. У России пока что не было военных пароходов; морское ведомство считало их бесполезной забавой. Грозные парусные корабли русского флота имели по сто и более пушек; они были уже стары, но казались очень надёжными. Царю пока что было не до флота. Вскоре после его возвращения из Берлина до слуха царя вновь долетело бряцание оружия в Германии.

Сначала шла речь о восстановлении Германского Союза, распавшегося в пору революции 1848 года. Пруссия с несколькими зависимыми князьками отказалась признать Союзный сейм, и 2 сентября 1850 года он торжественно собрался в Франкфурте — но без Пруссии и её союзников. И сразу началась смута в Гессене.

Гессенский курфюрст, глупый маленький тиран, ненавидел свой народ, устроивший за два года три восстания. Все три были подавлены, но курфюрсту не сиделось спокойно. Он затеял войну со своим парламентом. Гессенцы поднялись на защиту парламента, и перед угрозой новой революции курфюрст поскакал во Франкфурт — просить у Германского Союза помощи против собственной страны. Его просьба была принята; соединённый австро-баварский корпус уже готовился вступить в Гессен, как вдруг генерал фон Радовиц, прусский министр иностранных дел, заявил решительный протест.

Во-первых, Пруссия не признавала Союзного сейма; во-вторых, она не соглашалась допустить австрийскую армию в Гессен, граничивший с прусскими владениями. Получилось, что Пруссия оказала поддержку гессенской смуте, и царь был очень недоволен.

В октябре 1850 года царь пребывал в Варшаве, где был торжественно отпразднован 50-летний служебный юбилей фельдмаршала Паскевича, наместника Царства Польского.

Полвека назад юный Иван Паскевич понравился Павлу I и в октябре 1800 года был выпущен поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк с назначением флигель-адъютантом к государю. Так началась сказочная карьера. По случаю юбилея государь пожаловал Паскевичу особую бриллиантовую надпись на фельдмаршальском жезле, а король прусский и император австрийский возвели русского фельдмаршала также в фельдмаршалы своих войск.

Министр-президент Пруссии, старый граф Бранденбург, лично явился в Варшаву, чтобы успокоить царя относительно Гессена. Николай Павлович не хотел предавать делу огласки, но дал понять главе берлинского кабинета, что если Пруссия будет и далее косвенно поддерживать гессенских или голштинских революционеров, то Россия не поколеблется поддержать Австрию.

У самых ног графа Бранденбурга разверзлась бездна. Теперь за спиною австрийских и баварских полков показался призрак бородатого всадника с пикой — страшный всему цивилизованному миру русский казак.

Весь мир знал непреклонную волю императора Николая. Теперь он желал, чтобы Пруссия признала возрождённый Союзный сейм во Франкфурте и отказалась от притязаний на первенство в Германии. Пруссия не имела ни сил, ни средств сопротивляться воле императора Николая.

Молодой австрийский император Франц-Иосиф и первый министр его князь Шварценберг тоже прибыли на поклон в Варшаву. Судьбы Германии решались у ступеней русского престола.

Уверенные в расположении царя Николая, Франц-Иосиф и его министр в переговорах с графом Бранденбургом 28 октября проявили полную несговорчивость по всем существенным

пунктам. Шварценберг грозил Пруссии войной. Граф Бранденбург с сокрушённым сердцем выехал обратно в Берлин, чтобы убедить своих коллег по кабинету и самого короля согласиться на необходимые уступки.

В Берлине царило возбуждение. Радовиц готов был идти на полный разрыв. Король Фридрих-Вильгельм IV искал среднего пути. Граф Бранденбург доказывал, что такого нет.

2 ноября 1850 года в Берлине заседал королевский совет. Кронпринц высказался за мобилизацию армии; он с Радовицем составлял самое воинственное крыло света. Но пруссаки не дураки: они прекрасно умеют считать.

Воевать против Австрии и России – бессмыслица. Большинство королевского совета, вопреки энергичному сопротивлению кронпринца, отклоняет идею мобилизации и принимают проект самой ноты Шварценбургу.

Радовиц тут же подаёт в отставку. Граф Бранденбург удаляется, чтобы составить ноту, но вдруг ему делается дурно; вскоре он впадает в беспамятство.

6 ноября 1850 года граф Бранденбург умирает, не приходя в сознание: единственная жертва не начавшейся войны.

Скорее всего, тревожения последней недели, дальшие переезды и общая усталость расшатали здоровье старика, но Берлин думает иначе. Все приписывают смерть графа унизительно-властному обращению со стороны русского кайзера Николауса. Берлин мрачен, кипит и проклинаят.

Король Фридрих-Вильгельм IV, прозванный в Германии за склонность к вину Фрицем Шампанским, был неисправимым романтиком. Его любимой книгой была «Книга песен» Генриха Гейне. Именно в 1850 году король пожаловал красавице, Терезе Эльслер, старшей сестре знаменитой танцовщицы, титул баронессы, потому что у неё уже подрастал сынок от принца Адальберта Прусского⁴ король дал согласие на морганатический брак принца с новоявленной баронессой.

Король Фридрих-Вильгельм IV увидел в трагической смерти графа Бранденбурга перст судьбы. Он вернулся к своим воинственным проектам. Прусские войска по-прежнему стояли в Гессене лицом к лицу с армией Германского Союза, преграждая ей дорогу. Ноты Шварценберга становились всё более

высокомерными; он подкреплял их передвижения войск. В сердце Европы пахло порохом.

В Берлине между тем павшего Бранденбурга заменил барон фон Мантейфель; ввиду деятельных военных приготовлений Австрии и яростной, воинственной кампании в союзных с нею Баварии и Саксонии, он отдал приказ о мобилизации прусской армии, но при этом заявил, что Пруссия не имеет никаких враждебных намерений.

Шварценберг требовал свободного пропуска в Гессен для союзной армии. Прусскому командующему в Гессене даны из Берлина самые мирные инструкции: не ввязываться, не стрелять, не нападать. И, однако, 8 ноября произошла небольшая стычка союзников с пруссаками; офицеры сразу же остановили эту перестрелку, не вхлотившую в план командования.

Крайне испуганный этой перестрелкой, барон фон Мантейфель выражает публичные сожаления. Он заявил князькам «Прусского союза», что Пруссия отказывается от своих объединённых планов. При этом колоссальном поражении прусской политики король-романтик ещё делает пылкие заявления, пытаясь сохранить рыцарскую честь династии Гогенцоллернов. Его воинственное послание прусскому парламенту позволяет Шварценбургу предъявить Пруссии ультиматум: или союзная армия будет пропущена в Гессен, или Австрия объявит войну. На ответ дано 48 часов.

А на востоке царь Николай, Паскевич и князь Чернышёв уже прикидывают, какие силы выделить в поддержку Австрии и где удобнее произвести военную демонстрацию.

Фридрих-Вильгельм IV припёрт к стенке. Он приказывает Мантейфелю просить у Шварценберга свидания; австриец не спешит с ответом, срок ультиматума вот-вот истечет. Тогда король повелевает Мантейфелю, не дожидаясь ответа, ехать в Ольмюц и мириться любой ценой.

Князь Шварценберг не хотел ехать в Ольмюц, но император Франц-Иосиф приказал ему отправиться к Мантейфелю на свидание. Молодой император знал, что царь Николай предпочитает обойтись без войны в Германии. Не стоило заходить слишком далеко.

28 ноября 1850 года Мантейфель и Шварценберг встретились в Ольмюце. Переговоры были недолгими. Уже на другой день они подписали Ольмюцкое соглашение, обозначающее полную капитуляцию Пруссии: она обязалась не препятствовать союзной экзекуции в Гессене, не поддерживать упорствующее революционное правительство Гольштейна и перевести свою армию на мирное положение.

Когда Германия услышала о капитуляции пруссаков в Ольмюце, все почувствовали озноб в спине: какова же сила царя Николая, если он, не двинув ни одного своего полка, второй раз за один год рассуживает споры европейских династий и водворяет мир в Германии!

В Пруссии происходит взрыв яростного негодования. Общество вопиет о «новой Цене». Даже принцесса Августа, жена кронпринца, пишет в эти дни «Новая Пруссия похоронена». Барон фон Мантейфель пытается утихомирить парламентское большинство неопределёнными утешениями, но палата бушует. Только крайне правые примиряются с Ольмюцким позором, ибо он означает окончательное поражение последних судорог минувшей революции. Один из главных ораторов «старорусской партии», бранденбургский юнкер, известный под прозвищем Бешеный Бисмарк, поднимается на трибуну, чтобы заявить:

— Прусская армия не нуждается в представлении новых доказательств своего мужества. Честь Пруссии не требует, я в этом уверен, чтобы она играла в Германии роль Дон-Кихота.

При всём своём бешеном и неукротимом нраве, Бисмарк — самый реальный политик. Однако большинство не склоняются ни на утешение Мантейфеля, ни на резоны Бисмарка. Противники Ольмюцкого договора полностью преобладают, и прусское правительство приостанавливает парламентскую сессию.

Северный колосс в своём Зимнем дворце с холодным любопытством следит, как Пруссия переваривает горькую пилюлю. Что ему речи парламентских крикунов? Под его рукой — сильнейшая армия мира! Он — повелитель Европы!

В августе 1849 года Паскевич рапортовал о победе: «Венгрия у ног Вашего императорского величества».

В ноябре 1850 года у ног императора Николая лежала Пруссия, и для этого не понадобилось стотысячной армии.

Русскому царю достаточно было сказать слово, чтобы принудить к молчанию пушки и к бездействию генеральные штабы. Господа, сверните ваши карты, отведите вашу пехоту в казармы. Расседлайте ваших коней!

Император России желает мира.

Глава VI. Капризы фортуны

«...О русский царь! в твоей короне
Есть драгоценнейший алмаз;
Он значит: милость есть на троне.
О русский царь, помилуй нас!»

И ночь прошла; с рассветом ясным
За ней день новый воссиял;
А бедный узник в каземате
Всё ту же песню повторял.

Фёдор Глинка.

Декабрь дохнул морозом. Нева стала крепко. Генерал Дубельт и граф Орлов беседовали у пылающего камина.

— Вот самая лучшая новость, — сказал Орлов, подавая своему верному помощнику венскую газету. — Найдите, что пишут из Константинополя.

— Смерть Амурата-паши! — вскричал Дубельт. — Одним негодяем меньше!

Амурат-пашою стал называться, приняв веру Магомета, знаменитый Юзеф Бем, польский выходец, участник всех революций Европы и, наконец, генерал турецкой службы. Турецкий султан отказался его выдать, но всё же, уступая требованиям России и Австрии, удалил Амурата-пашу из Константинополя в Алеппо, где сей ренегат и умер от местной лихорадки.

— Десятого декабря! Это по нашему счёту 28 ноября, — прикинул Дубельт. — Две недели назад.

Петербург жил в лихорадочном предвкушении большого праздника. Послезавтра должно было праздноваться двадцатипятилетие царствования Николая I. Ровно четверть века!

Они делились сведениями о предстоящих наградах, оценивали положение дел в империи и в Европе.

— Наша ситуация блистательна, — подытожил Дубельт.

— Пруссия ропщет, — ответил граф. — Они там обвиняют государя в смерти графа Бранденбурга: говорят, он не вынес унижения в Варшаве.

— Старик оказался жидковат на расправу, — заметил Дубельт. — И не мудрено: одного взгляда государя, когда он в гневе, достаточно, чтобы повергнуть в прах самого дерзкого и важного вельможу, а то и помутить его разум.

— Есть одно на свете человеческое существо, которое без трепета переносит его взгляд.

— Кто же? — с любопытством спросил Дубельт.

— Мария Николаевна.

— Ну, ещё бы! Одна кровь! И лицом, и характером в государя.

— Он любит её больше всех детей, — задумчиво произнёс Орлов. — Если бы...

Он замолчал. Дубельт смотрел вопросительно, не нарушая задумчивости графа.

— Нет, вздор! Через Марию Николаевну нельзя, — со вздохом сказал Орлов. — Надо поискать других...

— Pardonnez-moi, monsieur le comte, je ne comprends pas, — осторожно сказал Дубельт. — Вы думаете о прощении на Высочайшее имя?

— Нечто в этом роде.

— Но вам самим это было бы легче всего...

— Ни вы, ни я, Леонтий Васильевич, по этому делу обращаться не должны. Я разумею дело Петрашевского. Оно бессовестно раздуто Перовским и Липранди, пора бы его пересмотреть. Но кто объяснит государю, что *там ничего не было*?

— Именно, именно это я давно твержу себе, — подхватил Дубельт. — Мы тут расшвыряли по каторгам компанию болтунов-чиновников, а подлинное зло проникает в Россию с Запада! Чего стоит хотя бы этот «Союз европейской демократии»!

— Вы думаете, Маццини может заслать к нам своих эмиссаров?

— Эмиссаров-то мы переловим, — ответил Дубельт, — но тлетворное влияние прилипчиво и неуловимо, как холера. Союз в Лондоне, другой в Брюсселе или Кёльне, тайные общества в Париже... Всех их манит русское благоденствие: как бы взорвать его! Поставить заслон европейской заразе, гегелизму, прудонизму и социализму — вот это и есть наипервейшее дело для нас, и

грешно перебирать наших дурачков, как грешна любая забава, ежели не выполнен урок!

— Да вы нынче глядите Цицероном! — смеясь, воскликнул граф.

Вечер начался рано. Петербург стремительно погружался в сумерки, зажигались фонари. Дубельт, выйдя от графа, отправился на площадь Большого театра, в дом Батюшкова. Среди окон его выделялось сияние из квартиры Политковского, занимавшего целый этаж.

Политковский содержал модную актрису — мадмуазель Эрнестину. Она славилась не сценическим талантом, а красотой и глубоким пониманием любви; утверждали, что одно время она была в коротких отношениях с Наследником Цесаревичем и сумела сохранить его дружбу.

В доме Политковского стены были покрыты французскими гобеленами; повсюду бросались в глаза картины иностранных мастеров в золоченых рамах. Ноги утопали в великолепных восточных коврах. Мебель у Политковского была от Тура, а бронза от Сазикова. В гостиной Дубельта ожидали пять человек: сам хозяин, Александр Михайлович Гедеонов, мадмуазель Эрнестина, мадмуазель Мила-Дешан и актриса Левкеева.

Мадмуазель Милá в 1850 году достигла вершин славы. Золотая молодежь Петербурга создала успех этой красивой французской актрисе, и Гедеонов заменил ею Елену Андреенову. Об «отставке» знаменитой танцовщицы много говорили в театральном мире Петербурга.

Лизанька Левкеева в 1845 году оставила петербургское театральное училище. Там её готовили к балету, но она была выпущена на драматическую сцену: она снискала шумный успех в водевилях и комедиях с танцами, таких, как «Рай Магомета» и «Эсмеральда». Её содержал знаменитый скопец Солодовников, один из богатейших купцов Петербурга и большой поклонник женской красоты, но в последнее время ей начал оказывать все более заметное покровительство сам генерал Дубельт, знавший её ещё ребёнком.

Три прелестных молодых женщины оживлённо беседовали под самодовольными взорами своих седых покровителей.

— Он весь в отца! — с пафосом говорила мадмуазель Эрнестина. — Такой же благородный и отважный, такой же рыцарь!

— О ком вы говорите? — спросил Дубельт, целуя руку «хозяйки».

— Об Александре Николаевиче, — с многозначительным вздохом ответила мадмуазель Эрнестина.

Дубельт почтительно кивнул. Летом 1850 года все русские газеты писали о подвигах Наследника Цесаревича, который посетил Кавказ и лично участвовал в боях с чеченцами.

— Но, мне кажется, *il est un peu rêveur*, — заметил Гедеонов.

— О да! Не зря же его воспитателем был Жуковский!

— «Мечтанье есть душа поэтов и стихов», — продекламировал Дубельт.

— Он был вашим другом, генерал?

— Да, мы ~~были~~ весьма близки с Васильем Андреичем.

—хлопотная была дружба: вечно он просил вас за каких-нибудь ссыльных или поднадзорных, — сказал Гедеонов.

— Он умел быть благодарным, — кратко ответил Дубельт. — Его слово во дворце стоило дороже золота.

В голове его забрезжила какая-то неясная мысль.

— Если бы Жуковский был здесь... — вслух подумал он, но не договорил. Все посмотрели на него с любопытством.

— От Жуковского Его императорское высочество усвоило не только мечтательность, — сказала Эрнестина, — но и великодушие, склонность к лицемерию и дух кротости.

— Вы правы! — с необычной живостью воскликнул Дубельт.

Политковский пригласил гостей в столовую, где их ждал великолепный ужин. Стол, накрытый на шесть персон, блистал серебром и фарфором; вина были на любой вкус. За ужином как-то сама собой речь зашла о капризах фортуны: эта тема более всего дразнила воображение трёх актрис, украшавших великолепный вечер.

В осень 1850 года всю Европу поразил американских размах, с которым было организовано заокеанское турне

«шведского соловья» — чудесной певицы Женни Линд. Об этих гастролях писали все газеты, и слава её достигла апогея.

Гастроли организовал американский шарлатан Барнум, который приобрёл миллионы, показывая простодушным соотечественникам старую негритянку выдаваемую им за кормилицу генерала Вашингтона, морскую женщину с рыбным хвостом, охоту индейцев на бизонов и карлика Тома Пуса.

— Он заплатил ей 187 тысяч долларов авансу, — сказал Гедонов, — так написано в английских газетах. Эти деньги она получила ещё прежде, чем решилась на путешествие

— А когда пироскаф прибыл в гавань Нового Йорка, — подхватила мадмуазель Эрнестина, — Барнум выплыл ей навстречу на лодке и поднёс огромный букет красных роз.

— Чего удивляться — у неё лучший сопрано в мире!

— За первый билет на её первый концерт некий меломан заплатил двести двадцать пять долларов!

— Цены билетов доходили потом до шестисот долларов!

— А она дала девяносто три концерта!

— Нет, сто!

— Сто шестьдесят!

— Сколько же она всего получила?

— Барнум утверждает, что заплатил ей, не считая плавания через океан и прочих путевых издержек, двести восемь или двести девять тысяч.

Ему же досталось более 535 тысяч чистого дохода.

— Каков плут!

— Он окупил свои расходы.

— Но любопытнее всего, даже любопытнее её концерта для Ниагарского водопада было её явление в американской столице, — продолжал Гедонов. — Первый её концерт в Вашингтоне посетил президент Соединенных Штатов со своею супругой. Зала была битком набита, и только в первом ряду партера оставалось четырнадцать пустых мест. Их резервировали для членов кабинета.

— Опоздать на такой концерт! — сказала Лиза Левкеева. — Американское невежество в полной красе.

— Вы не правы, дорогая Лиз, — с усмешкой вставил Дубельт, — в их опоздании была повинна Россия.

— Как? — вскричали в изумлении актрисы.

— Американским министрам пришлось быть на банкете у нашего посла.

Когда Женни Линд спела уже первые свои арии... впрочем, Александр Михайлович знает лучше меня.

Гедеонов продолжил:

— Министры вошли на цыпочках уже после начала концерта, скользнули в залу и заняли свои кресла. Благопристойность была соблюдена. Только старый Даниил Вебстер, министр иностранных дел, всё никак не мог усидеть, то и дело вскакивал и принимался подпевать Женни, а тем временем супруга министра отчаянно пыталась усадить его, дёргая за фалды фрака!

Грянул хохот.

— Не выдержал русского угощения? – спросил, вытирая слёзы смеха, Политковский.

— Выдержать-то выдержал, но слегка помутился рассудком.

— Я *слихивала*, — сказала мамзель Милá, — американская турне эта маленькая персона увенчался законни брак?

— О, это целая история! – ответил Гедеонов. – Вы знаете, она очень хороша собой. В неё несколько лет назад влюбился датский сказочник Андерсен и даже посватался к ней.

— Il a la mine d'un casse-noisette! – вскричала мамзель Милá.

— Вы совершенно правы, ma chérie! Женни ему ничего не ответила, а только поднесла к его физиономии зеркало!

— Bravo!

— Вот и ответ!

— В Америке она всех свела с ума. Поэт Лонгфеллов сказал, что она поёт, как утренняя звезда. Ей делали выгодные пропозиции тамошние миллиончики, генералы и плантаторы. И что же вы думаете?

— Ха-ха-ха!

— Accompaniateur? — вскрикнула мамзель Мила. — De quell nom?

— Некий Отто Гольдшмидт.

— Un Juif! Un Juif! Ouelle degriugolade!

Лицо француженки выразило презрительное разочарование.

— Фамилия-то вроде немецкая, — заметил Дубельт.

— Нет, Леонтий Васильевич, — возразил Гедеонов. — Это наверняка жид: ведь Гольдшмидт означает «златокузнец». Все немецкие жида или банкиры, или золотых дел мастера.

Актрисы дружно сошлись в том, что Женни Линд не проявила вкуса в своём неожиданном замужестве. Зато всех восхищал брак Терезы Эльслер с принцем Адальбертом Прусским.

— Тереза весьма красива, сказал Дубельт.

— Она может танцевать не хуже Фанни, — ответила со знанием дела Лиза Левкеева. — у Терезы стальной носок! Её карьере в балете помешал слишком высокий рост. Шесть вершков — это хорошо для гвардии, но не для балета.

— Эх, голубушка моя, — сказал Гедеонов, — не красотою она взяла!

— А чем же?

— А тем, что в пору догадалась родить принцу сына! Мальчик подрастал, отцовское сердце тронулось, небось, похож на принца и лепечет по матушкиному наущению: «Фатер, фатер!» Либесфрукт допёк фатера, а принц допёк короля!

— И вот вам баронесса фон Барним, морганатическая супруга принца.

— Ошень умный голёва! — подытожила мамзель Милá.

Потом говорили о романе гвардейского офицера с цирковой наездницей, которой он подарил золотые часы, и о веймарской премьере «Лоэнгрина», состоявшейся 28 августа 1850 года. Новая опера Вагнера, поставленная в Веймаре стараниями его друга Листа, имела колоссальный успех, и о ней говорили по всей Европе.

Однако сам Вагнер, остававшийся ещё в швейцарском изгнании, был бунтовщик, участник дрезденской революции и друг Бакунина. В Петербурге о Вагнере принято было говорить плохо. Мамзель Милá тонко улавливала этот тон.

— Vous savez, — с кошачьей улыбкой сказала она, — cette amitié de Mr. Wagner avec Mr. Liszt...

И с чисто французской грацией она поднесла грязную европейскую сплетню об отношениях Вагнера и Листа.

Дубельт позволил себе усомниться. Он напомнил о бесчисленных победах «принца пианистов» над самыми знаменитыми женщинами, начиная от фальшивой испанки Лолы Монтез, «королевы качучи», и кончая княгиней Сайн-Витгенштейн. Его слушали с жадностью, ибо осведомлённость Дубельта превышала обычные светские сплетни. Тем не менее, мамзель Милá не признала себя побеждённой, и спор продолжался.

Давно уже компания не проводила столь интересных и духовных тонких вечеров.

На следующее утро Дубельт изложил графу Орлову свою идею, осенившую его во время болтовни с красивыми актрисами.

— Александр Николаевич? — удивился граф. — Да, это в его вкусе. Он мог бы помочь. Но как подойти к делу, через кого? Nous n'avons pas le temps!

Времени, действительно, оставалось очень мало.

И все же граф успел осуществить свою интригу.

Россия, столица и двор с необычайной помпой отпраздновали двадцатипятилетие царствования Николая I.

Было много милости, государь раздал кучу орденов и прочих награждений, порою весьма щедрых.

При дворе шептали, что некие весьма высокие лица пытались исхлопотать у государя смягчение участи петрашевцев.

— Рано, — ответил государь.

Он был согласен с расширившимся мнением, что дело было пустяковое и что покушение на трон не имело места. Однако петрашевцы только в начале этого года попали в Сибирь; следовало их поморозить хотя бы годика два-три, а там можно будет думать о переводе на Кавказ; среди них есть офицеры. Кажется, один инженер... как бишь его...

Впрочем, неважно.

В декабре 1850 года в русских гимназиях приказано было учить фронту. Государь предусмотрительно задумывался об офицерских кадрах, потребных на Кавказ, и кто знает? — может быть, в новой войне против турок.

Ибо Николай I считал, что подходит пора снова воевать с турками. У него было верное наблюдение: добрая война с магометанами (турками или персами, всё равно) мигом утешает сельские волнения в губерниях.

В кабаках Санкт-Петербурга восторженные хоры
празднующего простого люда распевали:

Царь наш белый, православный,

Витязь сердцем и душой...

Но бедные девушки, швеи, бесприданницы, чахоточные
невские служанки уже пели другую песню: «Что ты жадно
глядишь на дорогу...»

За последние три года эта песня, сочинение господина
Некрасова, снискала величайшую популярность и разлетелась по
всей России. Однако из неё сделали род романса, и никто уже не
пел:

Будет бить тебя муж-привередник

И свекровь в три погибели гнуть.

Жалость хотела быть поэтичной.

Глава VII. Петербургские знаменитости

Сделаем передышку в этом правдивом повествовании. Окинем мысленным взором пёстрое общество Северной Пальмиры, пройдемся беглым биноклем истории по лицам и правам российской Полицы в 1851 году.

В каждом классе общества есть свои знаменитости. Среди литераторов Петербурга известнейшим лицом в середине XIX столетия был отставной гвардейский офицер Александр Васильевич Дружинин, автор знаменитой повести «Полинька Сакс», в коей он признавал право женщин на свободу чувств, но в то же время демонстрировал печальные последствия неосмотрительности в этом вопросе. Утверждали, что Сакс, самоотверженный муж пылкой Полиньки, списан с одного из героев Жоржа Занда, однако финал повести Дружинина весьма отличался от необузданных романов самой знаменитой *étancière* Европы.

Дружинин считался первым критиком дня: он проповедовал чистое искусство, предпочитал английские романы и во всём следовал английской моде. Он чрезвычайно интересовался юными гризетками и учил их изящной смелости в своих «афинских ночах». Вначале 1851 года в Петербурге много говорили о последней рождественской ёлке, которую Дружинин устроил в торговых банях.

«Русским Жоржем Зандом» называли Авдотью Панаеву, тридцатилетнюю брюнетку с изумительным цветом лица. Она уже пять лет как перестала быть женою писателя Ивана Параева, фамилию которого носила; все знали, что её настоящим мужем является поэт и журналист Некрасов. Авдотья Панаева в отличие от своего французского прототипа не курила трубку и не носила мужского костюма, но в остальном была похожа на настоящую Жорж Санд: следовала велениям своего сердца и писала романы

Её первую повесть «Семейство Тальниковых» цензура запретила за безнравственность и подрыв родительской власти.

Тогда Авдотья Яковлевна вместе с Некрасовым написала громадный роман «Три страны света», полный удивительных приключений. Петербург зачитывался им года два, роман выходил по частям в «Современнике», журнале Некрасова и Пакаева.

Авдотья Яковлевна регулярно печаталась в этом журнале под мужским псевдонимом «Н. Станицкий».

«Современник» был неоспоримо лучшим журналом Петербурга, хотя уже более двух лет назад лишился Белинского. В 1850 году в «Современнике» публиковались презанимательные «Рассказы о житейских глупостях», сочинявшиеся дружной компанией главных сотрудников: сюда входили и сам Иван Иванович Панаев, и Некрасов, и «русский Жорж Занд», и Григорович... Вместе со своим бывшим мужем Авдотья Яковлевна вела в «Современнике» отдел мод. Иван Панаев домогался славы первого петербургского dandy и одевался весьма изысканно; по словам тогдашнего сатирика, он был «коленкоровых манишек беспощадный либерал». В ту эпоху слово «либерал» ещё не утратило своего изначального смысла: «революционер», «мятежник».

Сама Авдотья Панаева одевалась с большим вкусом. Она вообще была красавица, славилась остроумием своего разговора, женского общества не любила и предпочитала одиноко царить в компании мужчин. В неё был страстно влюблён года четыре назад бедняга Достоевский, который ныне жил в Омском остроге. В 1851 году Некрасов и Станицкий опубликовали в своём журнале роман «Мёртвое озеро».

Иван Тургенев, деливший свою жизнь между русской литературой и французской певицей, в минувшем году опубликовал «Дневник лишнего человека»; повесть имела успех, и новое словцо «лишний человек» быстро стало модным. В 1851 году завершились печатанием «Записки охотника», упрочившие славу Тургенева. Вскоре они должны были выйти отдельной книгой. Другой молодой писатель, Гончаров, автор «Обыкновенной истории», почивая на слегка увядших лаврах четырёхлетней давности, усердно тянул лямку своего «Обломова».

Великий Гоголь после скандального провала своих писем к калужской губернаторше угрюмо замкнулся в своём издательском изгнании, где писал второй том «Мёртвых душ».

Как раз в 1851 году на литературном небосклоне Петербурга заблестела новая звезда – Василия Александровича Вонярярского. Это был брат известного смоленского помещика, миллионщика Александра Александровича Вонярярского.

Василию Александровичу в апреле исполнилось тридцать семь лет. В школе гвардейских юнкеров он дружил с Лермонтовым. Василий Вонлярлярский странствовал по Востоку; в 1849 году, сильно заболев поехал лечиться в Южную Францию и в Алжир. В Африке он охотился на львов вместе и известным зуавским офицером Жюлем Жераром. До 1851 года Василий Вонлярлярский ничего не печатал, а тут в «Отечественных записках» появились его «Поездка на марсельском пароходе» и «Охота на львов в Милиане», и Петербург с восхищением открыл в романтической личности бравого гвардейца исключительное литературное дарование, которое уже два года спустя Ксенофонт Полевой поставил выше Гоголя!

Василий Вонлярлярский, словно спеша за оставшиеся ему полтора года жизни выразил себя, писал как одержимый: повести и романы в изящном французском духе так и сыпались из-под его пера. Года на два в сознании петербургских энтузиастов он затмил всех: и Дружинина и Тургенева, и Некрасова с его очаровательным соавтором. Впрочем, пик славы Вонлярлярского приходится на 1853 год, а мы говорим о пятьдесят первом.

Что совершалось в мире живописи? Ещё в 1849 году «Великий Карл», то есть Брюллов, уехал лечить свой аневризм (упоминание которого сопровождалось в Петербурге хихиканьем) на остров Мадеру, знаменитый своим чудодейственным климатом. Поправившись, Брюллов в 1850 году вернулся в свою любимую Италию (где и умер в Марчиано под Римом в июле 1852 года). Впрочем, все давно сожалели об упадке великого таланта: кисть Брюллова ослабла, он даже не смог закончить купольную роспись вечно строящегося Исаакиевского собора. За него эту работу заканчивал Басин. В Петербурге 1851 года наибольшей популярностью пользовались Иван Айвазовский и Николай Майков.

Армянин Айвазовский в 1850 году привёз из своей Феодосии «Девятый вал» и снова покориł Петербург. Всколыхнулись журналы, вспомнились все его итальянские триумфы. Картины Айвазовского были раскуплены королями, герцогами и банкирами всей Европы, а одну картину его купил римский папа для своего Ватиканского музея. Но «Девятый вал» стал вершиной его художественной карьеры.

Академик Майков, любимец государя, раненый в Бородинской битве, где он сражался под знамёнами Багратиона, был видным историческим живописцем. Он считался одним из лучших иконописцев эпохи, хотя его образа для малых иконостасов Исаакия были признаны неудобными для воспроизведения мозаикой. Для малой церкви Зимнего дворца он написал «Сошествие Святого Духа», «Богоявление» и «Поклонение волхвов», много писал и для других храмов. Но все свои досуги Николай Аполлонович посвящал исполнению женских головок и отдыхающих купальниц. Самые большие люди Петербурга заказывали ему портреты своих маленьких подруг, и Майков исполнял эти портреты с «классической открытостью». Его обнажённые красавицы выдавали восторг всего Петербурга (в том числе и августейшей фамилии) формами, живым колоритом и нежными «майковскими лессировками». Министру финансов Канкрину приписывался позднее отзыв о Майкове: «Говорят, будто он религиозен, — я этого не знаю, но в беззастенчивом роде он пишет прелестно».

Конечно, в Северной Пальмире было полным-полно академиков живописи, и немцев, и французов, и русских. Полностью преобладала историческая, особенно батальная живопись, наипаче любимая государем. Николай I сам любил на досуге взять в руки кисть: под руководством одного старичка-академика государь подрисовывал группы воинов или отдельные фигуры на старых пейзажах из своих галерей.

Вообще говоря, петербургская публика отличалась беспристрастием и умела ценить дарования. Как раз в описываемое нами время начали говорить о жанровых картинах Павла Федотова, офицера Финляндского полка. Его грустно-смешные бытовые сценки напоминали повести и пьесы господина Гоголя, а также физиологические очерки «натуральной школы».

Театральный мир Петербурга ещё переживал смену власти в дирекции императорских театров. Жалели об отставке Елены Андреевны; та была бескорыстна и никого не притесняла. Новая хозяйка, мамзель Милá, живо скрутила Гедеонова и захватила безграничное влияние на все дела, ангажементы и контракты; она тотчас ввела обыкновение делать ей крупные подарки в Новый год и в день рождения.

В 1851 году театр был взволнован неслыханной удачей Юлии Линской. Ученица князя Шаховского, она десять лет назад дебютировала в «Параше-Сибирячке», но за эти годы не снискала особых лавров; в 1851 году она вышла замуж за купца-миллионера Громова и оставила сцену, чтобы через три года вернуться и завоевать всеобщее признание в бытовых ролях их пьес Александра Островского.

Такие удачи, взлёты, неожиданные карьеры случались нередко в изображаемую эпоху. Стоило лишь стать известным при дворе, а особенно понравиться государю — и человек оказывался на гребне волны.

Как раз в 1850 году был открыт первый постоянный мост через Неву — давняя мечта Петербурга. Он строился восемь лет; автором проекта и руководителем постройки был Станислав Кербедз. Говорили, что он ещё в институте путей сообщения задумал это сооружение и всё чертил проекты и планы, так, что другие кадеты считали его помешанным на этом пункте. После выпуска в офицеры Кербедз представил графу Клейнмихелю, главноуправляющему путями сообщения, подробные планы, сметы и детали моста. Клейнмихель довёл об этом до Высочайшего сведения. Государь был поражён и приказал учредить особую комиссию под представительством знаменитого инженер — генерала Дестрёма для рассмотрения проекта Кербедза. В городе многие инженеры и архитекторы, услышав об этой «затее» пожимали плечами и саркастически улыбались.

Но проект был признан остроумным и удобоисполнителным; поручику Кербедзу поручили и его исполнение. Мост строился под наблюдением самого государя, часто бывавшего на работах. По мере строительства Кербедз получал очередные чины и дошёл до полковника. При торжественном освящении и открытии моста император, пройдя пешком с Адмиралтейской стороны до Васильевского острова, поздравил счастливого Кербедза генералом и прямо на мосту расцеловал графа Клейнмихеля. Николай Павлович назвал мост Благовещенским по имени ближайшей церкви конногвардейского полка. В память сооружения моста была выбита медаль.

Кербедзу в момент этого триумфа было сорок лет. Кстати, это бы первый в России металлический мост.

История эта неопровержимо доказывает, что император Николай не питал никакой ненависти ко всем полякам вообще, как иногда утверждали на Западе. Государь весьма ценил своих поляков, преданных российскому престолу, и Кербедз не единственный пример этого благоволения. Как раз в 1851 году Николай Павлович оказал большую милость крупнейшему польскому магнату — князю Любомирскому.

Сын магната, ещё учась в Александровском лицее, влюбился в девицу Швейковскую, самую красивую из петербургских полячек. Она согласилась выйти замуж за молодого князя сразу по выпуске его из лицея. Но старик Любомирский слышать не хотел о таком мезальянсе и даже запретил сыну видиться с семейством Швейковских.

Влюблённые всё же сумели снестись, и панна Швейковская всё сделала сама: нашла и уговорила ксёндза, сняла домик за городом, в условленный час подъехала ко дворцу Любомирских и тайно вызвала жениха. Юноша сел в карету, и они поскакали венчаться.

Дня через три, как водится, молодые явились к отцу с повинной, но старик Любомирский не принял их, а испросил аудиенцию у государя, где изложил своё горе и просил участия государя, а сына — выслать подальше из Петербурга. Николай Павлович не допускал нарушений родительской власти; Высочайше повелено было: «Брак заключённый без согласия отца, считать недействительным; молодого Любомирского заслушание отцу отправить рядовым на три года на Кавказ».

Пересказывая эту историю, петербургские остряки дополняли Высочайшее повеление ещё одною фразой:

— «Урождённую Швейковскую по прежнему считать девицей».

Но поляки не смеялись. По законам католической религии развода не существует, и аннулировать брак может только папа римский. Великодушное решение Николая Павловича, снизошедшего к горю старого Любомирского, вызвало ужас и изумление поляков. Тогда-то и родилось среди них ядовитое прозвище государя: «*Papież Petersburski*».

Положительно, поляки никогда не могли понять государя Николая Павловича. Для сравнения укажем на другую историю

1851 года: известный повеса, кавалергард князь Сергей Трубецкой, за увоз Жадимировской, был по личному распоряжению государя посажен в Алексеевский равелин, а затем разжалован в рядовые. Несколько лет после этого он писал на своих визитных карточках: «Mr.Troubetzkoï ne prince Troubetzkoï». Как видим, государь отнёсся к Трубецкому так же строго, как к Любомирскому.

Правда, знающие люди напоминали, что десять лет назад Сергей Трубецкой был замешан в громкую «историю»: на Кавказе в самой роковой дуэли 1841 года он был наряду с Монго Столыпинам, секундантом Михаила Лермонтова.

— У государя крепкая память. Другьям Лермонтова нечего ожидать снисхождения, - говорили умные люди.

В 1851 году знаменитая светская львица Мария Васильевна Столыпина, отступившись от князя Барятинского, вышла замуж за князя Семёна Михайловича Воронцова, после чего её старый свёкор получил титул светлости. Покровительство Наследника Цесаревича этой даме оставалось неизменным.

Сто лет назад *Историческая хроника*

«Революция начнётся на
этот раз на Востоке,
бывшем до сих пор
нетронутой цитаделью и
резервной армией
контрреволюции».

(Карл Маркс — письмо к Ф. А. Зорге,
сентябрь 1877 года).

I

— Подумать только, — глухо и отрывисто сказал Соловьёв, — полудикие зулу, не знающие даже пороха и вооружённые assegаями, бьют войска королевы Виктории, а мы, располагая скорострельным оружием, не решаемся сломить реакцию в лице императора Александра.

— Говорите по существу! — устало попросил Попов.

Лица у всех были покрасневшими, разгорячёнными, заседание Большого совета тайной партии «Земля и воля» протекало очень бурно. Среди русских народников обнаружили резкие разногласия.

Хождение в народ не имело успеха. Всё чаще и чаще, особенно на Юге, народники переходили к насильственным актам, мстя за репрессии правительства и уничтожая шпионов или предателей. В 1878 году Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова, а в ответ на казнь революционера Ковальского Сергей Кравчинский заколол шефа жандармов Мезенцева. Всякий раз эти акты вызывали волну арестов и приговоров, среди которых ссылка в Сибирь оказывалась одним из самых мягких.

В начале 1879 года полиции удалось разгромить киевский революционный кружок, называвший себе Исполнительным комитетом и выпустивший несколько боевых прокламаций, украшенных красной печатью с изображением топора, кинжала и

револьвера. Много народников, особенно южных «бунтарей», томилось без суда в тюрьмах.

И вот в начале марта народник Александр Соловьёв, отчаявшись в мирной пропаганде (ибо вести её не давали нигде), приехал в Петербург и предложил центру партии крайнюю меру — он вызывался «идти на государя».

В 1866 году Дмитрий Каракозов уже стрелял в императора, но тогда, согласно официальному рассказу, в толпе у Летнего сада костромской шапочник Осип Комиссаров толкнул Каракозова и помешал ему стрелять. Потом в Париже в Александра II стрелял поляк Березовский.... Вот и теперь, приехав в Петербург, Соловьёв узнал, что его уже опередили с этим предложением приехавшие ранее с Юга Кобылянский и Гольденберг. Они, как и Соловьёв, обратились за помощью к «Земле и воле»: для покушения нужна была слежка за императором, оружие, конспиративная квартира и многое другое.

Собравшись для обсуждения этих планов, Большой совет сразу же отверг предложения Гольденберга и Кобылянского: если даже решаться на крайнюю меру, то, во всяком случае, осуществлять её должен представитель русской нации. Таким образом, оставался только тридцатичетырёхлетний Александр Соловьёв, пропагандист с большим опытом, молчаливый, странный, но преданный делу человек. Его считали чудачком, над его неуклюжестью посмеивались, но все знали, что под суровой и мрачной внешностью Соловьёва таится чистая душа. Абсолютное бескорыстие, аскетизм, равнодушие к удобствам или житейским благам отличали его.

Его поддержали «политики» — Михайлов, Квятковский и другие, но против выступили «деревенщики». Они стояли за продолжение пропаганды среди крестьянства и отрицали всякую политическую борьбу. Особенно резко отвергали проект Соловьёва два видных члена «Земли и воли» — Осип Аптекман (один из основателей партии) и красивый, огненноглазый Жорж Плеханов. Не без оснований они опасались, что покушения подорвут работу в массах и оттолкнут народ от организации.

Спорили до хрипоты, и страсти накалялись. Выйдя из себя, противник покушения Попов крикнул.

— Среди нас может явиться и Комиссаров!

И тогда лучший друг Попова, Александр Квятковский, страшно побледнел и, сунув руку в карман, встал со стула:

— Если им окажешься ты, — крикнул он, — то я тебя и убью!

Товарищи взволнованно зашумели. Большой совет призвал к порядку Попова и Квятковского.

В результате всех яростных дебатов было принято компромиссное решение: «Земля и воля» *не приняла* предложения Соловьёва и отказала ему в помощи как партия, но отдельным её членам *не запрещалось* оказать ему содействие.

И содействие было оказано. Его устроили на конспиративную квартиру, достали хорошую одежду *специально* для покушения, ибо Соловьёв всегда одевался бедно, почти по-крестьянски. Николай Морозов достал Соловьёву большой револьвер через посредство доктора Ореста Веймара, стоявшего близко к революционному кружку чайковцев и впоследствии дорого поплатившемуся за эту покупку.

Каждый день Соловьёв ходил в тир упражняться в стрельбе и весьма изрядно «набил руку». Правда, в петербургских тирах стреляли не из боевых американских револьверов.

— У меня нет сомнений, — сказал он Вере Фигнер. — Я не дам промаха.

Друзья знали, что он запасся цианистым калием, чтобы в случае ареста быстро уйти из жизни и не дать врагам никаких следов.

II

В тот год Александр II ещё не прекратил своих пеших прогулок по Петербургу. Он сильно прибавлял в весе, и врачи рекомендовали ему моцион.

Когда он появлялся на какой-нибудь из улиц, прилегавших к Зимнему дворцу, его на почтительном расстоянии окружала охрана, одетая в партикулярное платье. Агенты вполголоса приказывали встречным:

— Сударь, сверните направо! Мадам, соблаговолите пройти в переулок!

Или проще:

— А ну-ка, мамзель, сверните с дороги! Эй, любезный отоди-ка туда, за угол! Поживее!

Вокруг императора перемещалась зона пустоты.

Так было и 2 апреля 1879 года на Дворцовой площади.

Но высокий, несколько угрюмый господин в тёплом пальто и цилиндре, погружённый в глубокую задумчивость, не услышал просьбы агента. Это был типичный клубный завсегдатай, истый петербуржец с узким лицом, довольно крупным острым носом и небольшой русой бородкой, подстриженной клином. Одет он был со вкусом, перчатки на нём были новёхонькие и очень недешёвые, цилиндр его блестел так успокоительно... И сам джентльмен двигался так величаво и чинно, что агенты охраны, чуть потоптавшись, решили не поднимать шума. Они только издали следили за господином в цилиндре.

Между тем крупная, внушительная фигура Александра II приближалась навстречу этому господину. Вот уже стало видно знакомое всем русским по портретам оплывшее лицо с бородой, нездорового цвета, и запрятанные в тени глаза, и странный, отсутствующий взгляд.

Император тоже заметил встречного господина и внутренне приготовился ответить на его поклон. Внешность господина не вызвала никаких подозрений. Александр II уже видел узкое аристократическое лицо и даже различил маленькие глазки стального цвета.

Вот уже джентльмен каким-то странным, неловким жестом снял с головы цилиндр...

И когда между ними оставалось всего несколько шагов, нервы у Соловьёва не выдержали.

Он выхватил револьвер и открыл огонь.

В императора стреляли уже не раз. При виде револьвера, показавшегося ему непомерно громадным, Александр II тотчас повернулся и бросился бежать, обеими руками подобрал полы шинели.

Государь бежал по всем правилам полевой тактики — зигзагами. Ни одна пуля не попала в него. Соловьёв расстрелял почти весь барабан, и едва он сделал пятый выстрел, как в него вцепились агенты охраны.

Блестящий цилиндр покатился по мостовой.

III

В мае 1879 года в Киеве были повешены три члена Исполнительного комитета. Валериан Осинский на эшафоте оттолкнул священника с распятием:

— Я так же мало признаю небесного царя, как и царей земных.

В мае же образовалась тайная фракция «Земли и воли», стоявшая за политическую борьбу и террор. Двое членов её, Якимов и Зацепная, вступили в фиктивный брак, чтобы получить двадцатитысячное приданое: деньги они передали в кассу фракции. Девизом этой группы было избрано: «Свобода или смерть». Они приняли свой собственный устав и ввели строжайшую дисциплину.

Фракция имела две или три конспиративные квартиры, на одной из которых работала динамитная мастерская во главе с Николаем Кибальчиком, сыном сельского священника. Он изготовлял и даже испытывал в глухих лесах мины и бомбы.

За два дня до покушения Соловьёва из Петербурга выехал Попов с поручением объехать местные организации и созвать общий съезд «Земли и воли».

Члены её, находившиеся нелегально в Петербурге, не были взяты после неудачи 2 апреля. Соловьёв никого не выдал. Позже узнали, что после ареста он ухитрился незаметно принять цианистый калий, но симптомы отравления были сразу замечены, и полицейский врач влил ему в рот противоядие и тем самым спас его жизнь для суда и расправы.

На следствии Соловьёв назвал себя и заявил, что он подготовил покушение в одиночку. Разумеется, никто ему не поверил. Следствие быстро установило круг его знакомств в губерниях, где он вёл пропаганду. Револьвер Соловьёва проследили вплоть до оружейного магазина и установили, что купил его доктор Реймар. В провинции было арестовано множество людей, знакомых с Соловьёвым, лишь немногие успели бежать.

Добрый и незлобивый, как ребёнок, рассеянный и чудаковатый, как профессор Паганель, Соловьёв перед верховным уголовным судом держался с присущим ему невозмутимым

спокойствием. Он подробно объяснил причины, побудившие его к покушению. На большом публичном процессе рядом с ним оказались на скамье подсудимых супруги Богданович, Адриан Михайлов, Орест Веймар и многие другие. Всем им дали каторгу, Соловьёва приговорили к смерти.

И 28 мая 1879 года на Смоленском поле в Петербурге, в 10 часов утра, он был повешен в присутствии четырёхтысячной толпы, шумно выражавшей одобрение происходящей казни. Ему было 33 года, но он всегда выглядел старше своих лет.

В это время «политики-террористы» решили до начала съезда партии провести предварительно свой особый съезд и пригласили на него видных «южных бунтарей» — Желябова и Колодкевича. В июне в лесу под Липецком три дня подряд происходил необычный пикник: в нём участвовали десять мужчин и одна дама. Три дня в живописной декорации шампанского, закусок и гитар они обсуждали вопросы реорганизации «Земли и воли».

Липецкий съезд решил, что партия социалистов-народников должна уделять часть своих сил на политическую борьбу.

— Политическая борьба допускается нами на время, — заявил Квятковский. — Она нужна только для достижения условий, при которых была бы возможна идейная борьба во имя чисто социалистических требований.

Практической целью борьбы ставился созыв представительного народного собрания, выбранного на основе всеобщего и прямого избирательного права.

Обсуждали и попытку Соловьёва. Съезд постановил повторить покушение на императора *только в случае новых казней*. Насильственную борьбу постановили прекратить, как только откроется возможность свободной политической деятельности.

Только двое участников съезда считали террор единственным методом борьбы. Один из них, Николай Морозов, заявил:

— Мы будем бороться по способу Вильгельма Телля — один на один с врагом, без народных масс.

Но остальные девять участников считали, что террор — лишь одно из средств к достижению цели, и причём не главное. Так думал тогда и Андрей Желябов, избранный секретарём съезда.

Предвидя возможность раскола «Земли воли», Липецкий съезд заранее принял план и устав возможной новой партии. На последнем заседании, 17 июня, Александр Михайлов произнёс гневную обличительную речь против императора. Это был настоящий обвинительный акт. Но судьба Александра II решалась пока условно. Постановили ждать исхода нескольких процессов на Юге.

После этого большинство участников отправилось в Воронеж, на общепартийный съезд. Он открылся 18 июня и продолжался четыре дня.

IV

На Воронежском съезде Морозов прочёл последнее письмо Осинского: он завещал продолжать борьбу с правительством.

При обсуждении программы только что принятый в партию Желябов подробно обосновал идею политической борьбы. Он считал, что принятие конституции облегчит деятельность партии. Однако большинство встретило идею насмешками.

— Господа, вспомните, что мы не какие-нибудь либералы!

— Землица народу нужна, а не конституция!

Большинство считало, что Желябов отодвинул на задний план социалистические задачи.

Съезд сделал «политикам» лишь небольшие уступки. Политический террор признавался лишь как крайняя и исключительная мера для специальных случаев. Таким специальным случаем считалась месть Александру II.

«Политики», будучи в меньшинстве, не стали оглашать свою Липецкую программу, но внесли предложения о преобладании террора. Здесь опять закипел отчаянный спор: кое-кто понимал, что на террор и на агитацию в деревне одновременно — не хватит сил. Нужно выбирать что-нибудь одно. Плеханов и Вера Засулич стояли за агитацию.

Но могучее обаяние Желябова, страстная убеждённость Квятковского, пылкое красноречие Морозова сделали своё дело: из

девятнадцать участников съезда тринадцать проголосовали за преобладание террора.

Плеханов, резко протестуя против этого решения, покинул съезд.

В Воронеже был выработан компромисс: при сохранении прежней программы «Земли и воли» постановили усилить внутри партии особую группу для террористической борьбы.

Но компромисс оказался непрочным.

V

— Извозчик, гони! Целковый на водку!

— Будьте благонадежны, ваше сиясьсво! — ответил извозчик.

Пролётка мчалась стрелой. Стояла середина августа, в Петербурге было ещё мало публики, общество не вернулось с дач, но всё же главные улицы оживились, слышалась музыка, появились толпы гуляющих, наслаждающихся погожим вечером. Цветы, беззаботный смех, великолепные туалеты публики — всё свидетельствовало о хорошем настроении Петербурга.

Седок, рослый, импозантный господин с пышной бородой, старившей его (вряд ли ему было более 28 лет), не замечал гуляющих, не оглядывался на шикарные особняки, где в окнах, освещённых газом или сиянием керосиновых ламп, виднелись серебряные самовары и дамы в кринолинах, разливающие чай. Господин с бородой смотрел вперед, сжимая в руке свёрнутую в трубку свежую газету.

— Здесь!

Извозчик остановил свою разгоряченную пару. Господин, щедро расплатившись, вбежал в парадный подъезд, поднялся на второй этаж и дёрнул ручку звонка. Открыла кокетливая горничная:

— Барина нету дома. Он на консилиуме у больного.

— Мне нужен племянник барина, — ответил господин.

— Ах, племянник! — тон горничной неуволимо изменился.

— Ну, входите. По коридору и по лесенке — вон, туда.

Проходя по коридору, он бросил взгляд в открытую дверь уютной гостиной с большой висячей лампой, роялем и портретом Скобелева на белом коне. Поднялся по лесенке, коротко постучал.

Послышались тихие, осторожные шаги, и Аптекман открыл дверь.

— Андрей! Вы? — с удивлением и тревогой воскликнул он. — Входите скорее! Что случилось? Да снимите шляпу! Дайте ваше пальто...

Андрей Желябов осмотрел каморку, в которой скрывался мнимый племянник хозяина. Стол, книги, керосиновая лампа. Напротив дивана — портрет Гарибальди, а в красном углу — Спас Нерукотворный. Аптекман крестился перед началом хождения в народ.

— Читали вы нынче газеты? — спросил Желябов.

— Сегодня я не выходил и даже не видел хозяев...

— Что вы на это скажете? — и Желябов подал ему газету.

— Где, где? — бормотал Аптекман, предчувствуя недоброе.

— Вот, читайте!

Аптекман начал читать и схватился за голову.

— Дмитрий! Родной!

Сообщение из Одессы гласило, что 10 августа по приговору суда состоялась казнь революционеров Лизогуба, Давиденко и Чубарова.

— Дмитрий повешен, — сказал Желябов.

Дмитрия Лизогуба любили все землеvolьцы. Он принадлежал к украинской дворянской фамилии, восходившей ещё к временам гетманщины. Лизогубы владели крупными поместьями. Дмитрий явился одним из организаторов «Земли и воли». Он отдал ей большую часть своего личного состояния. Аскет революции, человек замечательной душевной красоты, Дмитрий Лизогуб с двумя товарищами умер на виселице 10 августа 1879 года. Ему было 29 лет.

— Мы должны собраться и покончить с тем вопросом, — сказал Андрей Желябов. — Нам пора действовать иначе, а вы можете продолжать старую линию. Это ваше право.

— Ничего не поделаешь, — грустно сказал Аптекман.

— Придется собраться. Я извещу Стефановича и Дейча.

На другой день после повешения Лизогуба в Николаеве были казнены ещё два народника — Виттенберг и Логовенко.

Эти пять казней решили дело: 15 августа небольшая группа землевольцев собралась на тот самый Петербургский съезд, где был решен вопрос о разделе на две самостоятельных партии.

«Земля и воля» распалась.

VI

При разделе согласились, что ни одна из фракций не должна пользоваться прежним ~~уже — прославленным~~ названием партии. «Деревенщики» взяли себе слово «земля», а «политики» — «волю».

Первая фракция стала позже называться «Черный передел».

Учредительное собрание «политиков» происходило на квартире Веры Фигнер и Александра Квятковского в Лештуковом переулке; присутствовало 15 человек, из них пятеро женщин.

Новую организацию решили назвать «Народная воля».

По условиям раздела с «деревенщиками» партия получила типографию с запасом шрифта, паспортное бюро, которое подпольщики в шутку называли «небесной канцелярией», и 31 тысячу рублей из средств Дмитрия Лизогуба и супругов Якимовых.

В Исполнительный комитет «Народной воли» вошли Желябов, Александр Михайлов, Квятковский, Морозов и другие. В числе агентов Комитета были Кибальчич, Тимофей Михайлов и даже чиновник Третьего отделения Клеточников. О нем знали немногие. Революционер делал карьеру в сердце шпионского ведомства Империи!

С момента возникновения партии на повестку дня поставлен «Центральный акт». Андрей Иванович Желябов, сын крепостного крестьянина, берет в свои руки его подготовку.

Судьба императра решилась уже в августе 1879 года: 26-го числа Исполнительный комитет «Народной воли» утверждает смертный приговор Александру II, условно вынесенный в Липецке семьдесят дней назад.

Динамит, закупленный в Швейцарии, перехвачен таможней, но к сентябрю Ширяев изготовил несколько пудов нитроглицерина. Работа кипит. Желябов выезжает на юг.

А Петербург занят своей суетой, открытием театрального сезона, сплетнями большого света и газетными сенсациями.

Петербургские дамы обсуждают гибель принца Луи-Наполеона. Молодой авантюрист, сын бывшего французского императора Наполеона III, вступил добровольцем в английскую армию для участия в экзотической войне с кровожадными зулу. Он поехал в Южную Африку и был убит в июле, когда находился в засаде.

— Такой красавчик — всего двадцать три года!

— Вот поистине романтическая смерть!

В 1879 году Тырновская конференция провозглашает полную независимость Болгарского княжества от султана. Первым князем Болгарии становится Александр Баттенбергский, который позднее окажется злейшим врагом России.

Знаменитый строитель Суэцкого канала, старый Фердинанд Лессепс, учреждает акционерное общество для прорытия Панамского канала. Никто не может вообразить, что Панама, детище самого Лессепса, обернётся грандиознейшим мошенничеством века.

Русские газеты яростно нападают на канцлера Германской империи.

— На Берлинском конгрессе он предал Россию! — шумят петербургские клубные политики. — Он отнял у нас плоды побед, купленных русскою кровью!

— Спаситель Турции и враг всего христианского мира!

— Как же Горчаков его прежде не разглядел?

Никто ещё не может знать об одном сверхсекретном документе, который 7 октября 1879 года подписан в Вене графом Андраши и германским послом Рейсом. Это тайный договор Австро-Венгрии и Германии о союзе против России — первый шаг к разделению мира на два лагеря, которое через 35 лет приведет к мировой войне.

Но мир не подозревает об этом. Пока что воюют только англичане — в Афганистане и в Африке. Но колониальные войны — это обычное занятие англичан, к этому все привыкли.

В России, слава богу, спокойно. Социалисты как будто поутихли, напуганные недавними казнями на Юге.

— Видать, не по душе им пеньковый галстух? — посмеиваются петербургские читатели газет.

— Всех бы их собрать да отправить на казенный кошт изучать полярную географию!

— Пусть в гости к моржам да к пушному зверю на побывку прокатятся?

Нильс Норденшельд после зимовки в Колючинской губе благополучно вышел на своем пароходе «Вега» в Тихий океан. Закончилось первое в истории плавание по Северному морскому пути. И вскоре после этого Николай Пржевальский, в свои сорок лет уже мировая знаменитость, отправился в Тибет.

— Вы читаете в «Русском вестнике» новый роман Достоевского?

— Ах, увольте, я предпочитаю Жюль Верна!

Слава Жюль Верна затмила уже и стареющего Флобера, и модного Эмиля Золя. В прошлом году Жюль Верн издал «Пятнадцатилетнего капитана», а в текущем 1879-м — «Пятьсот миллионов бегумы». Петербург читает их по-французски.

— Как вам нравится его морозильная бомба?

— Ловко придумано! Но это никогда не осуществится.

— Зато как роскошная фантазия! А какое богатство психологии! Этот демонический изобретатель, ставящий науку на службу истреблению рода человеческого помощью искусственного мороза...

— Вздор-с! В мире уже существуют митральезы, выбрасывающие целые снопы пуль. Страшнее и придумать нельзя.

— Не очень-то они помогли французам в семидесятом году.

— Большая Берта пострашнее митральезы.

— Ваша Берта, — кипит салонный стратег, — это просто толстая немка, сиречь дура, а доведись ей с нами повздорить, так и отведает нашего штыка.

— Большая Берта противу русского штыка — что Мольтке против Скобелева! Немцам только планы в штабах чертить, а белый генерал сам ведёт в огонь своих героев!

Так шумит и болтает самодовольное и всеведущее столичное общество.

Литейный мост в Петербурге освещён электрическими свечами Яблочкова, но Эдисон в Америке только что изобрёл лампу накаливания с упругой угольной нитью из волокна бамбука. Будучи запаяна в стеклянный колпак, из коего выкачан весь воздух, бамбуковая нить может гореть до тысячи часов!

В это время стриженные петербургские курсистки, разогревая себе на спиртовках скудный ужин, читают по-немецки только что опубликованную книгу Августа Бебеля «Женщина и социализм». Это для них настоящее чтение, не то, что какие-то «Братья Карамазовы» или «Анна Каренина». И что хорошего находят в этой откормленной и праздной самке, в которой физиология решительно преобладает над интеллектом?

Ещё серьезнее, чем книга Бебеля, но зато и опаснее иное чтение: в сентябре 1879 года вышел первый номер «Народной воли». В этом подпольном журнале напечатана поэма «Последняя исповедь». Её герой — революционер, приговорённый к смертной казни.

Под впечатлением этой поэмы Илья Репин скоро напишет свою знаменитую картину «Отказ от исповеди».

Вдали от этой суеты, среди чудной природы Крыма, проводит лето большой, грузный и смертельно усталый человек, которому недавно перевалило за шестьдесят. Он любит медвежью охоту и балет (собственно — кордебалет). Он ненавидит стриженных женщин и русскую литературу. Он не знает, что обречён.

Поздней осенью 1879 года Александр II и двор несколькими поездами выезжают из Ливадии в Петербург.

VII

Специальные составы двора идут на север.

Тёмным вечером 19 ноября недалеко от Москвы ровный перестук колёс внезапно прерывается адским грохотом: под полотном железной дороги взорвалась мощная мина.

Багажный вагон опрокинут, восемь вагонов сошли с рельс. Однако в поезде никто не пострадал.

Впрочем, мина взорвалась под поездом свиты, который в этот раз против обыкновения шёл вторым.

Обычно вторым в череде специальных составов идёт поезд императора. Это значит, что злоумышленники были хорошо осведомлены.

Место взрыва оцеплено. Найдена длинная подземная галерея, прорытая из расположенного неподалёку дома напрямик под железнодорожное полотно. Все газеты отмечают тщательную и искусную подготовку покушения. Генералы-эксперты качают головами: неужели у злоумышленников есть свои военные инженеры?

Вспоминают полковника Обручева, полковника Лаврова... Значит, и такие люди попадают в революцию?

Что будет, если эти ужасные идеи проникнут в армию?

22 ноября 1879 года, прибыв в Петербург, государь немедленно отправляется для благодарственного молебна в Казанский собор.

Он благодарит за избавление от злодейской руки чудотворную Богоматерь Казанскую, которая давно уже считается покровительницей дома Романовых.

А в это время по всей России рассылается ещё пахнущая типографской краской листовка «Народной воли», выпущенная в связи с покушением 19 ноября. По существу, это обвинительный акт Александру II и его царствованию. Крестьянская реформа 1861 года была обманом. Александр II «является олицетворением деспотизма лицемерного, трусливо-кровожадного и всерастлевающего».

Исполнительный комитет «Народной воли» требует передачи власти всенародному Учредительному собранию. «А до тех пор — борьба! Борьба непримиримая!»

Россия потрясена. Обыватели оцепенели. Так значит, пеньковый галстук не образумил этих злодеев?

— Государь чуть не взлетел на воздух, а никто из виновных не задержан!

— Для чего же у нас Третье отделение, жандармы, филеры, сыщики? На что годятся эти «русские Лекоки»?

— Мазуриков ловить, батенька, мазуриков!

— Что такое «Исполнительный комитет»? Где прячутся эти злодеи?

На последний вопрос можно было бы ответить: в Зимнем.

В мастерскую Зимнего дворца ещё 20 сентября принят новый столяр — некий Батышков, красивый и добрудшный парень двадцати трёх лет. У него очень привлекательное лицо, располагающее к нему даже важных камер-лакеев Зимнего. Усы, эспаньолка, хорошие волосы. Почтителен и любопытен. Отличный мастер по самым тонким работам.

Настоящее имя молодого столяра — Степан Халтурин.

Вождь первой революционной организации рабочих, он решил сам повторить попытку Соловьёва. Он считает, что император должен пасть от руки русского рабочего, и не хочет уступать эту миссию интеллигентам.

VIII

Кибальчич делает бомбы.

Он родился в селе Короп, в Черниговской губернии. Ему 26 лет, и он мечтатель. Россия вообще страна мечтателей.

Делая бомбы, он мечтает о новой воздухоплавательной машине. Он уверен, что воздушные шары отжили своё. Ни пар, ни электрический двигатель не пригодны для воздухоплавания. Нужна новая сила, способная поднять в воздух летательный аппарат.

Такою силой станут (Кибальчич уверен) медленно горящие взрывчатые вещества. Да, те самые взрывчатые вещества, которые сейчас он применяет для создания смертоносных снарядов.

Он воочию видит такую машину — полый металлический цилиндр с одним дном, прикреплённый двумя стойками к платформе. Если цилиндр поставить закрытым дном кверху, поместить внутрь прессованный порох и воспламенить без взрыва, то давление пороховых газов поднимет прибор вверх, и он взлетит.

Этот прибор может подняться очень высоко, если только величина давления газов на верхнее дно будет во время поднятия превышать тяжесть прибора.

Наблюдатель на платформе прибора сможет созерцать Монблан или Эльбрус сверху!

Кибальчич воображает воздухоплавательный прибор, основанный на принципе реактивного движения. О большем он не думает

Но в том же 1879 году в реальном училище русского городка Боровска появляется очень странная фигура — новый учитель физики и математики.

Ему только двадцать два года, но он глух из-за перенесённой в детстве скарлатины.

Самоучка, чудак, фантазёр, он влюблён в звёздное небо, и зовут его Константин Циолковский.

Пролог

Исторический рассказ

В двадцатом веке история движется так быстро, что какой-нибудь десяток лет равнозначен целому столетию другого исторического периода. Давно ли горделивое человечество торжествовало конечную победу «века пара и электричества»? Сегодня килограмм урана заменяет целые горы каменного угля и целые Ниагары угля белого. Ещё не пожелтели страницы журналов, повествовавшие с оттенком ужаса о «пиратах воздушного океана» — бомбовозах «Хендлей-Педж» и «Бомбер-Берлинг». Весь мир с восхищением рукоплескал двум американцам, которые на аэроплане «Гордость Детройта» вылетели на пари вокруг света, сделали только четырнадцать посадок в пути и только путь из Токио в Ванкувер проделали на пароходе, так как в Тихом океане стояла штормовая погода. Эти смельчаки за сорок дней описали вокруг земного шара замкнутую кривую примерно в 38.000 километров. Такое кругосветное путешествие не снилось и самому Жюль Верну!

Впрочем, в данном случае ирония неуместна. Что мы можем добавить к фактам? «Все течёт». И мы не окажемся оригинальными.

Как бы то ни было, события, с которых начинается этот рассказ, стали для нас седой древностью.

В один скверный, холодный вечер в маленьком доме на окраине провинциального городка горел свет.

Хозяева дома, секретарь райкома партии Настасьин и его жена уложили спать своих детей и разговаривали с глазу на глаз в уютной гостиной, увешанной портретами великих революционеров.

— Ты что же, ещё здороваешься с Шерышевым? — тихо, со сдержанной злобой спрашивала у Настасьина его жена.

— Что ж я могу поделать? — с ноткой беспомощности отвечал секретарь райкома.

— Переходи на другую сторону улицы! Так все делают. Анна Кузьминична говорит, что в его положении просто бестактно лезть к людям со своими приветствиями. Даже ещё и руку суёт, старый дурак...

— Шерышев, бедняга, всегда был недогадлив, — пробормотал Настасьин, набрасывая какие-то строки в блокноте большого формата.

— «Бедняга!» — передразнила жена. — Ты лучше бы нас пожалел. Двое детей у тебя! Ты о них думаешь? Ты...

— Нынче взяли Абрамовича, — сообщил муж, пытаясь отвлечь внимание раздражённой супруги.

— Да? Уже и этого! Ну, он-то держал себя умно.

— Предчувствовал заранее, из дома не выходил. Жена его признавалась, что боится... Револьвер от него спрятала. Запрётся у себя в кабинете и курит по ночам. А она каждую ночь стояла у окон, высматривала: не остановится ли у дома машина с потушенными фарами? Как-то раз остановилась.

— Ну, и что?

— Поднялись по лестнице. Сам Абрамович вышел из кабинета, стал надевать пальто. Оказалось, не к ним. За Коверзным приходили.

— Неделя раньше, неделя позже... Окончил?

— Да, завтра отошлю в редакцию. Проверь, нет ли ошибок.

— Ты пока затопи печку, — сказала жена, читая написанное в блокноте. — «Презренные» пишется с двумя Н.

— Исправляй, исправляй, — ответил Настасьин, чиркая спичкой.

Настасьина подумала и вывела аккуратным почерком заголовок: «Подлым врагам народа не уйти от справедливой кары!»

— Слишком длинной, — заметил Настасьин, заглядывая через плечо жены, но ничего не предложил взамен и вышел.

Чердачная лестница закрипела, и через минуту Настасьин вернулся в гостиную, сгибаясь под тяжестью большого чемодана.

Муж и жена молча сели у огня и открыли чемодан. Он был битком набит книгами. Поверх книг лицом вниз лежал портрет Николая Бухарина в кожаной тужурке, и Настасьин невольно взглянул на стену, где ещё не так давно этот портрет занимал почётное место рядом с Карлом Марксом, Бебелем и Лениным.

Как только огонь разгорелся, портрет Бухарина был вынут из рамки и отправлен в печь. Затем принялись разбирать основное содержимое чемодана.

Это была по большей части партийная литература. Вслед за портретом полетели в огонь толстые, как кирпичи, томы бухаринских сочинений. Они плохо горели, и приходилось подкармливать пламя Кольцовым и Радеком. Постепенно огонь разгорался всё сильнее и вдруг, при неожиданном порыве ветра, заревел так яростно, что Настасьина обеспокоенно подняла голову.

— Как бы не загорелась сажа в трубе.

Муж ничего не ответил: он читал одну из приговорённых брошюр. Выведенная из терпения, она схватила брошюру и швырнула в печь, проворчав с презрением: «Философ!» Секретарь райкома вздохнул:

— Это можно было оставить.

— Зиновьева?

— Всё-таки Ленин и Зиновьев.

— Но один из соавторов Зиновьев?

Мужчина снова вздохнул. У него был вид человека усталого и безропотно покоряющегося судьбе.

— «Десять дней, которые потрясли мир...» И к чему держать такое старьё? — негодовала жена.

За Джоном Ридом последовал бухаринский сборник статей против Троцкого, затем брошюра Каменева, как вдруг лицо Настасьиной исказилось от ужаса.

— Это что? — прошипела она.

— Бог ты мой, я думал, что давно сжёг её!

Разъярённая женщина нагнулась и, не жалея себя, затолкала книгу с надписью «Л. Д. Троцкий» в самый жар. Успокоившись и отдышавшись, она захлопнула пустой чемодан и небрежно отставила его к стене.

— Всё! — сказала она. — С этим покончено. Забудь. Пока эта каша продолжается, молчи и не высовывай голову. Пропадай всё пропадом, мы должны остаться живы.

— А что, папа опять летит на самолёте? — раздался детский голос. Муж и жена вздрогнули и обернулись. На пороге спальни стоял шестилетний мальчик в ночной рубашке, зевал и тёр кулаком глаза.

— А ну, марш в постель! — прикрикнул Настасьин. — Все хорошие мальчики давно спят.

— А куда ты летишь?

— Никуда я не лечу...

Когда мать унесла ребёнка, Настасьин в мрачной задумчивости посмотрел на огонь и сказал, ни к кому не обращаясь:

— К чорту. Мы все летим к чорту.

Это было очень, очень давно. Во времена седой древности. Может быть, немного позже, чем во времена фараонов, но всё же очень давно. Это было приблизительно двадцать лет назад.

15-17 марта 1957.

Красный Арслан

Рассказ

За бугром в полуверсте от аула он остановил коня, и рядом с ним остановились его ординарец, который вёл в поводу запасную лошадь в нарядной сбруе, и два лучших джигита из его эскадрона. Он до половин обнажил шашку и снова опустил в ножны, вынул из кобуры маузер.

— Намётом! — скомандовал он.

И четыре бешеных всадника с пятой лошадей пустились вниз по пыльному склону, оставляя позади пять дымящихся полосок.

У самого аула он поднял маузер вверх и трижды выстрелил.

— Красный Арслан! Красный Арслан! — закричали в ауле.

Его широкое медное лицо, покрытое пылью, разломилось на миг в презрительной усмешке. Да, враги боялись его.

Они ворвались в аул под лай собак, ржание коней, вопли испуга. Пронеслись из конца в конец и остановились перед богатым домом возле колодца.

— Зухра! — крикнул Красный Арслан.

В доме послышались звуки борьбы. Он снова выпалил в воздух. Из дома, звеня серебром монет в тяжёлых косах, выбежала стройная девушка с расцарапанной в кровь щекой. Красный Арслан помог ей сесть на запасную лошадь.

— Насрулла! — крикнул он. — Я беру твою дочь в жёны! Я буду хорошим зятем, Насрулла!

— Да покарает тебя Аллах! — раздался хриплый рёв из дома.

Не слушая проклятий Насруллы, Красный Арслан повернул коня. Топот копыт вновь огласил аул. Из дома Насруллы грянула берданка, и заряд пролетел над головами скачущих.

— Ох, это Уметбай! — воскликнула Зухра.

Один из джигитов потянул с плеча карабин, но Красный Арслан властно махнул рукой — скачи дальше, некогда! Однако посреди аула он ещё раз остановился и закричал во всю мощь своих огромных лёгких:

— Эй, люди! Через три часа здесь будет Дутов! Пока не поздно — уходите с нами!

Никто не ответил ему, и Красный Арслан с невестой и товарищами покинул аул.

— Дедушка, вам плохо?

Он с трудом поднял голову. Ай, какой позор — он задремал в сквере среди бела дня. Какие-то молодые люди склонялись к нему.

— Вы что-то говорили, стонали...

— Спасибо. Мне не плохо.

Он подобрал свою алюминиевую трость, поправил шляпу и посмотрел на часы. Июльский полдень пылал над Уфой, небо дрожало от зноя, и цветы у постаamenta статуи Ленина словно сверкали.

Прошёл знакомый доцент, историк, с уважением поздоровался с ним. Да, одни историки знают его.

Нет, секретари обкома тоже.

И, пожалуй, пионеры и журналисты.

Нет, если разобраться, довольно много людей в Уфе знают персонального пенсионера Арслана Батырова.

И ещё один старик, который в праздник Гаит в козловых сапожках и бостоновом костюме, с немой ненавистью проходит в мечеть мимо дома Арслана. Родственничек — Уметбай Насруллин. Злобой только живёт.

Арслан встаёт со своей обычной скамейки в Ленинском сквере, куда приходит почти каждый день. И всякий раз оживает привычное воспоминание.

...Ему достали гостевой билет, и он пошёл на съезд в новой форме, перетянутой ремнями, в сапогах со шпорами. Когда съезд начался, он впился глазами в президиум и отыскал Ленина. И слушая потом его речь, Красный Арслан продолжал переживать безмерное удивление.

Да, Ильич был не из тех, кто удалю потрясает сабантуу. Фабрициус или Будённый лучше выглядели бы на лихом коне, с шашкой в руке. И тем удивительнее, что этот невысокий человек прогнал Николая и Керенского, поднял такую революцию. И красные батыры, вожди конных атак и бронепоездов, вокруг него

— как малые дети вокруг отца. Ах, какой человек, какой непонятный человек!

...Он шепчет Ленину слова прощанья, выходит из сквера, волоча левую ногу, которая была прострелена пулей Юденича, а потом обморожена на золотых приисках Сибири. Арслан покупает цветы, едет на трамвае до улицы Гафури и медленно взбирается в гору, где в душном аромате трав и цветов дремлет старое кладбище.

Он прямо идёт к родной могиле; на памятнике высечено: «Зухра Насрулла-кызы Батырова». Он кладёт на могилу цветы, повинаясь обычаю, которого не знали его деда, но который пришёлся ему по душе. Долго сидит у могилы. Он хорошо одет, но больше ничем не выделяется среди обычных посетителей кладбища. В будни он никогда не носит своих орденов.

Он вспоминает Зухру, их прежнюю жизнь и горько жалеет об одинокой смерти верной жены, когда он был далеко от неё и добывал золото на погибель Гитлеру. И с печальной гордостью думает о двух своих сыновьях, погибших рядом с Шаймуратовым в том страшном последнем бою при возвращении бригады из рейда.

Оставив кладбище, он направляется к огромному чугунному всаднику, вздыбившему коня над Белой.

В который уж раз Арслан обозревает памятник и поворачивается туда, куда смотрит всадник. В знойной дымке тает южный берег, а дальше Арслан угадывает горы, Ашкадар, родные степи, обильно политые кровью его народа, вплоть до самого Оренбурга, которого Емельян и Салават так и не взяли.

Взор его туманится от зноя, в памяти смешиваются песня с былью, и кажется ему, что он снова молод и силен, что он сидит на коне рядом со своим комбригом Салаватом Юлаевым и что они, поочерёдно передавая друг другу бинокль, рассматривают наступающие цепи белых. Они ждут только сигнала командарма, чтобы бросить в атаку на Михельсона горящих нетерпением красных башкир. Комбриг Салават живой, а не статуя, и по лицу Арслана блуждает смутная улыбка.

Ближе к вечеру Арслан возвращается. Люди пьют пиво на перекрёстке, дети ездят на маленьких велосипедах, и за геранями низких окошек девушки глядят цветные платья.

В трамвае Арслану уступают место, и он едет домой. На остановке его встречает Зухра, гибкая девушка в белых брюках и солнечных очках. Она берёт деда под руку, осыпает нежными упрёками и ведёт в дом. Обед давно готов, нельзя так долго не есть, дедушка опять ходил один на кладбище. Звонил по телефону её товарищ Фарит, звал в кино...

После обеда Арслан со свежей газетой выходит на балкон и садится на стул. Незаметно наступил вечер. Вот уже закат сквозит сотнями игл через листву тополей. Затихает шум моторов на улицах. Зухра выглядывает на балкон.

— Дедушка! — осторожно зовёт она.

Арслан не отвечает. Его подбородок упёрся в грудь, руки лежат на коленях. Зухра с любовью смотрит на его седую голову. Спит? Да, конечно. Был громадный и ветреный день, революция, война, работа, а теперь наступил вечер. Арслан устал за этот день. И Зухра надевает лучшее платье, прислушиваясь к шагам прохожих под окном.

Но на сей раз Арслан не спит. Упавшая газета свернулась у него в ногах, как полосатый котёнок. Кровь медленнее течёт в жилах. Но он не спит. Он видит внизу фигуру юноши в белой рубашке и слышит привычную песенку из его транзисторного приёмника. Из дома выбегает Зухра, паренёк с транзистором обнимает её, и они исчезают в тени тополей. Солнце село. Арслан сдвигает брови. Всё это было когда-то: вечер, условный сигнал и стройная девушка по имени Зухра.

Бесконечное время совершает свой победный путь. А его день прошёл. И вот уже не遠деке — быть может, над статуей Ленина — загорелась мерцающая первая звезда. Быть может, она же и последняя звезда в простой и удивительной жизни Красного Арслана.

СОДЕРЖАНИЕ

Звезда и совесть
Фантастический роман
6

Тысячу лет назад
Историческая повесть
145

Рождение человека
Исторический рассказ
162

Голубой Каин
Историческая хроника
164

Сто лет назад
Историческая хроника
236

Пролог
Исторический рассказ
252

Красный Арслан
Рассказ
256